

Иван НАЖИВИН

ГЛАГОЛЮТ СТЯГИ



Серия исторических романов

Иван Наживин
Глаголют стяги

«ВЕЧЕ»

1929

Наживин И. Ф.

Глаголют стяги / И. Ф. Наживин — «ВЕЧЕ», 1929 — (Серия исторических романов)

Иван Фёдорович Наживин (1874—1940) – один из интереснейших писателей первой половины XX века. Начав с «толстовства», Наживин на собственном опыте испытал «свободу, равенство и братство», вкусил плодов той бури, в подготовке которой принимал участие, видел «правду» белых и красных, а в эмиграции создал целый ряд исторических романов, пытаясь осмыслить истоки увиденного им воочию. Роман «Глаголют стяги» посвящен очень сложному и неоднозначному периоду в истории Руси-России – событиям X века. После гибели на днепровских порогах Святослава, последнего князя-«язычника», Русь охватило пламя междоусобицы – сыновья великого отца делили наследство, но не на благо страны, а под собственные интересы. И победить в этой кровавой кутерьме мог только тот, кто первым найдет правильный путь в будущее!..

© Наживин И. Ф., 1929

© ВЕЧЕ, 1929

Содержание

I. Колыбель Руси	5
II. Два мира	10
III. Торжество победителя	14
IV. На порогах Непры	17
V. Старое и новое	21
VI. На полюдьё	26
VII. Душа лесов	30
VIII. На заборале	33
IX. На родине	36
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Иван Наживин

Глаголют стяги

І. Колыбель Руси

Се повести временных лет, откуда есть пошла Русьская земля; кто в Киеве первое нача княжити, и откуда Русьская земля стала есть...

Начало великой русской сказки, русской историей именуемой, покрыто «мраком киммерийским». Конечно, никакого «мрака» в безбрежных равнинах этих не было – в них, зелёных, диких, привольных, шла солнечная поэма творения, как и везде, – но своё невежество, своё бессилие проникнуть в запертые дали тогдашние историки именовали «киммерийским мраком»; поэты же древности населяли эти дали своими выдумками – более или менее неудачными.

Ещё задолго до Рождества Христова по черноморской Украине бездонных пространств этих уже цвели колонии финикийские и карийские, а за ними греческие. Богатая Ольвия, бойко торговавшая рыбой, – на её медальях изображалась птица, несущая в клюве рыбу, – была основана в устьях Борисфена-Днепра почти за семьсот лет до Рождества Христова. Храм Деметры многоколонный царил над водною ширью. Теперь от неё не осталось и следа, а то место, где она некогда шумела, зовётся урочищем Сто Могил. Между Днестром и Бугом цвёл Ордисос, на Днестре красовался Тирас, в светлой Тавриде шумели Пантикапея – потом Керчь, – Херсонес, Кримны, Феодосия, Сидагиос, который славяне звали Сурожем, а потом Судакком... А за этой узкой ленточкой греческой жизни начиналась Степь, жуткая Степь, которой не было конца, в которой жила сказка и бродили народы-призраки. От них остались только перевернутые имена: будины, гелоны, меланхлены, андрофаги, невры, языки, роксоланы, булане, забоки, койсто-боки, пиенгиты, велеты, боруски, тирангиты, геты, сарматы, кробизы, ариаки, физамиты, савдариты, амадоки, бастарны, кораллы, сираки, агары, алане, ревксилане и прочие, и прочие, и прочие – без конца. В водовороте истории они меняли свои имена, меняли названия местностей, рек, городов, богов и тем самым довершали смятение и бессилие позднейших историков. Всё, что от них осталось – это немые курганы по бескрайним степям, иногда украшенные каменными «бабами», о которых известно только то, что они не бабы, ибо часто носят оружие. Тут, в степях между Танаисом-Доном и Борисфеном-Днепром, гарцевали амазонки, занесённые морской бурей после войны с греками в Скифию. Тут кочевал народ-вшеед, внушавший грекам отвращение. Тут за полторы тысячи лет до Рождества Христова прошёл со своими египтянами Сезострис. Тут гонялся за скифами Дарий и, крепя призрачную власть свою над этими безднами, ставил вдоль Волги свои крепости...

За степями владычество сказки уже было совсем безраздельно. Одни поэты уверяли, что в сумрачных далях этих скрыты крючки, на которых закреплён мир, что там оканчивается круг, по которому вращаются светила небесные, что в грозных пустынях этих вечно идёт хлопьями снег и страшно зияют ледяные пещеры, в которых обитают бурные северные ветры. Для того чтобы уверить в этом неверов, в Пантикапее, в храме Асклепия, был даже выставлен медный, треснувший будто бы от мороза кувшин, на котором было написано, что поставлен он не в дар божеству, а только для того, чтобы показать людям, какие в той стране бывают зимы. Другие, наоборот, уверяли, что там цветёт блаженная страна гиперборейцев, которые сеют хлеб утром, жнут в полдень, а плоды убирают под вечер. Климат там божественный. Живут гиперборейцы в священных дубравах, не ведая ни скуки, ни скорби, ни болезни, ни раздоров, вечно радуются и умирают лишь добровольно, когда пресытятся днями. От роскошного стола, уставленного

яствами, старцы их уходят на скалу и бросаются в море. Сам отец истории, Геродот, умный, образованный и правдивый грек, не в силах справиться со сказкой, записал в свои путевые заметки, что там, у подошвы высоких гор, обитают плешивые, плосконосые люди-миротворцы с продолговатыми подбородками. Свои записки эти он читал потом всенародно на олимпийских празднествах, и греки приходили от них в восторг...

Потом постепенно «киммерийский мрак» этот начинает рассеиваться. Занялись этим делом прежде всего купцы: богатому югу нужны были и янтарь, и меха дорогие, и рабы, и молодые рабыни. И вот в погоне за богатым прибытком, в одной руке золото или товары, в другой меч, «гости» поднимались по могучему Борисфену «на гору», всё дальше и дальше в глубь таинственных стран, всё шире и шире раздвигали пределы своей гостьбы, всё более и более строили и укрепляли большие и малые торжки, погосты, погосты. Уже финикийцы ходили этим путём по янтарь на Поморье. Янтарь почитался в те времена соком солнечных лучей и ценился дороже золота: крошечная человеческая фигурка из янтаря стоила, по словам Плиния, дороже живого человека. В Передней Азии и в Архипелаге янтарь считался драгоценнейшим курением в палатах царей и в храмах богов и самым дорогим украшением наряда. Нерон очень искал его, чтобы украсить им сети, которыми окружали арену во время боя гладиаторов между собой и дикими зверями. В свою очередь, и русские гости очень рано начали свои торговые походы по окрестным странам: уже в начале X века они проходили со своими повозками через Богемию на берега Дуная продавать баварцам лошадей и невольников, бывали они и в Царьграде, и в египетской Александрии, и в Орначе – столице сарацин-бесерменов.

Но если гости явились первыми исследователями «мрака киммерийского», то никто больше них не распространял об этих таинственных странах всяких вздорных побасок, чтобы отпугнуть других смельчаков-промышленников: о холодах невероятных рассказывали они, о людоедах, о том, что столько там по лесам дикой пчелы, что человеку и пробраться невозможно... А сами тем временем пробирались и к болгарам, богатым драгоценными кунными мехами, и дальше по великой Итиль-Волге, к хазарам, над которыми царствовали жиры, и по Каме в богатую Биармию – страну золота и камней самоцветных. И, делая страшные глаза, они рассказывали, что золото стерегут там страшные грифы и что много труда и опасностей пришлось вынести им, чтобы вырвать у страшных стражей этих их сокровища...

И будили беспокойные жадные люди эти спящие пустыни. Зашевелился потихоньку человек и в дремучих лесах этих, и в неоглядных степях, где трава и бурьян были так высоки, что всадника было не видно в них, и где немые курганы, неизвестно кем и когда насыпанные, служили маяками, по которым степняки и заезжие гости правили свой путь, останавливаясь для отдыха у неизвестно когда и кем выкопанных степных криниц...

Народы-призраки пришли и прошли, и в степи появились другие народы с уже определённым именем и лицом. Из них одни все ещё бродили по степям туда и сюда, а другие уже осели и стали не только орать землю, водить скот и пчёл, ловить зверя и рыбу, но и посылать эти плоды трудов своих в богатую Элладу, где в это время уже расцвёл на крутой скале золотой цветок Акрополя, где люди и боги жили вместе жизнью-сказкой, а питались пшеницей с берегов Нила и Днепра. Весь юг необъятной страны захватили скифы: на восток, к Танаису-Дону, кочевники, к западу – оратаи, пахари. Происходили скифы, как записали учёные того времени, от Зевса и дочери Днепра, но другие учёные, напротив, утверждали, что произошли они от Геркулеса, который раз гнал этими степями волов Гериона и в устьях Днепра обрёл Ехидну, полуженщину-полузмею, которая и женила его на себе... Бок о бок со скифами сидели славяне, пришедшие неизвестно откуда и когда и рассыпавшиеся от берегов Дони (Дании) до верховьев Волги и Оки. И постепенно по горам, в уздах путин водных стали вставать городки немудрящие: там, над седым Днепром, – Киев, там, на Волхове, – Словенск, а за ним Новгород, там Ладога, там, у мери, Ростов, в тёмных лесах затерявшийся...

И все больше, все чаще, все глубже проникал этот дикий мир в мир греко-римский и обратно: если степняков можно было иногда видеть в гвардии императоров византийских и на улицах Рима за колесницей триумфатора, то иногда и они победителями врывались в Афины или Византию и грозный Рим должен был платить им дань или, как осторожно выражались римляне, дары, стипендии, субсидии... А пововав, мир старый, уходящий, и новый, нарождающийся мир, снова старались «построить мир и положить ряды». Но и в мирное время столкновение этих двух миров рождало иногда яркие драмы. Рождённый матерью-гречанкой, скифский царь Скила рано почувствовал склонность к греческой образованности, и часто, подступив со своими ордами к Ольвии, он уходил в город, надевал там греческое платье и принимал участие в вакхических мистериях. Узнав об этом, скифы восстали, и Скила должен был бежать к царю фракийскому Ситалку. Но Ситалк выдал его, и скифы за склонность их царя к греческой образованности отрубили ему голову...

Потом запутавшийся и уставший Запад зашевелился под свежим ветром, подувшим с озера Тивериадского.

Но это не могло уже оживить одряхлевшие народы: умертвив нежную галилейскую сказку, они заставили её служить старым богам, а точнее, себе. И седое предание говорит, что из грек в варяги, через славную Корсунь, прошёл на север с уже изуродованным благовестием апостол Андрей. Он благословил киевские горы, поставил на них крест и поведал своим ученикам, что некогда воссияет на сих горах благодать Божия, устроится великий град и воздвигнутся многие церкви. А потом пошёл он к славянам на Ильмень-озеро. И тут он увидел многие чудеса, о которых потом рассказывал в Риме. «Есть, – говорил старичок, – у славян бани деревянные. Натопят они их жарко, разденутся донага, обольются квасом усняным (щёлоком), возьмут молодое прутье да и хвощутся им, и до того добьются, что вылезают еле живы. А затем обольются студёною водою, так и оживут. И так творят всякий день, никем не мучимы, но сами себя мучат, творя себе не омовение, но мучение...» И римляне слушали старичка и, дивясь на варваров, покачивали головами.

И всё более и более крепили молодые народы степей и лесов и иногда отваживались пробовать свои волчьи зубы на каменных стенах Византии. Греки встречали их ладьи страшным греческим огнём – они называли его аргументом, – но, несмотря на все эти аргументы, дикари снова и снова возвращались за золотом, за паволоками, за оружием, за вином добрым с островов солнечных. Сражались они не только без кольчуги, но часто даже и рубашку сбрасывали, и отравленные стрелы их для византийцев тоже были аргументом довольно опасным; часто дикарям удавалось отогнать и полон: греками и римлянами можно было торговать несколько не хуже, чем полянской пшеницей, сушёной рыбой или мехами. Новый бог, пришедший из Галилеи, в таких столкновениях становился неизменно на сторону, противную дикарям: стоило в трудную минуту патриарху византийскому погрузить ризу Богородицы Влахернской в море, как сразу же поднималась жестокая буря и размётывала вёрткие однодерёвки варваров, как осенние листья. В благодарность за небесную помощь властители церковные установили в честь доброй Богородицы новую службу, которая совершалась ночью стоя и называлась акафист, что значит неседален.

Но всё ещё смутны шумы этой жизни, неясны её игры, всё ещё едва-едва выделяются отдельные облики участников великой трагедии. Если Кий, Щёк и Хорив с их сестрою Лыбедью, сидевшие родами своими над Днепром, если Рюрик, Синеус, Трувор, Аскольд и Дир, первые варяги, если Вадим и Гостомысл – просто имена, не имеющие плоти, без всякого облика, то в воинственной и величавой тени вешего Олега уже проступают живые человеческие черты и вся жизнь его и смерть красивы, как сказка. Это – начало.

И только около этого времени яснее проступает тень и самого Киева. Сперва это был просто перевоз. Много проходило тут всякого народа и с запада на восток и обратно, и «из варяг в греки» и обратно. Население посёлка было весьма пёстро. Сюда, как века спустя на

Дон, стекались люди, которым дома было тесно. Сюда, в узел водных путин, стекались для торгова гости: с юга – за янтарём, за бобровой струёй, полезной при припадках, за «мягкой рухлядью», то есть за мехами, а с севера – за товарами богатого юга. Киевские люди, опытные лопмана, перевозчики, знавшие страшные пороги как свои пять пальцев, как бы открывали всем двери туда и сюда. В X веке Киев принадлежал, в сущности, всем племенам, тяготевшим к Днепру. Вся верхняя земля смотрела на него как на средоточие всей земли Русской. Именно поэтому и дал ему Олег так удачно имя матери городов русских. Именно поэтому и двинулся он на Киев великою ратью, в которой участвовали не только славяне-новгородцы, но и чудь, и меря, и весь, и кривичи, и, заняв его, утвердил этот важнейший узел ещё неустроенной земли Русской. И вскоре он «примучил» соседей-древлян и обложил их данью. А немного сгодя ещё, подняв Русь, – имя это только-только родилось над Днепром – Олег ударил по Царьграду, взял дань по двенадцати гривен «на ключ» – то есть на уключину – и прибил свой щит над воротами гордого города, и заключил договор: «Да приходит Русь, послы, в Царьград и берут посольское сколько хотят, а придут которые гости, пусть берут месячину на полгода – хлеб, вино, мясо, рыбу, овощи – и да творят им мовь (баню) сколько хотят. А пойдут на Русь домой, пусть берут у царя на дорогу брашно, якори, канаты, паруса сколько надобно». И цари утвердили мир и целовали крест, а Олег и его мужи по русскому закону клялись своим оружием, богом Перуном и Велесом, скотьим богом. «И повелел Олег Руси, – говорит сказка, – сшить паруса поволочитые (шёлковые), а славянам – кропинные (бумажные).

Но кропинные паруса сразу изорвал ветер, и сказали славяне: останемся при своих толстинах – непригодны славянам паруса кропинные!»

И почала с тех пор Русь сноситься с гордым Царьградом посольствами, когда требовалось, и цари чтили послов всегда дарами: золотом, паволоками, фофудьями; и приказывали всегда показывать им город: красоту церковную, палаты золотые и в них всякое богатство, а в особенности святыню христианскую: «страсти Господни», то есть венец, гвоздь, хламиду багряную и мощи святых, «поучая послов к своей вере». И потом отпускали их домой с честью великою...

Но, несмотря на все договоры на мир и любовь, крепко побаивалась Византия орлёнка, растущего в степях. Тут, на её счастье, прошёл степью новый потоп, орды печенегов. Слившись с побеждёнными скифами, они заняли огромные пространства от Доростола на Дунае (Силистрия) до хазарского Саркела на Дону. Византийцам было это очень на руку: печенеги связали собою Русь. И они дарами старались закрепить за собой их дружбу.

Смутна ещё и фигура Игоря. После смерти Олега от змеи древляне сейчас же заратились, или, по другому выражению, затворились от Игоря, то есть отказались платить ему дань. Он пошёл на них и погиб ужасной смертью: раздражённые поборами древляне, овладев князем, привязали его ногами к верхушкам двух нагнутых к земле деревьев, отпустили их, и князь был с маху разодран надвое под самыми стенами вражьего Искоростеня, что на реке Уше стал.

Но уже ярче проступает образ Ольги, жены Игоревой. Несмотря на все старания летописцев, упившихся византийской премудрости и елейности, сделать из неё икону, она стоит у входа в русскую историю бой-бабой, разбитной псковитянкой, во весь рост. Хитро и жестоко отомстившая древлянам за смерть мужа, она на другой же год после древлянского погрома пошла на Новгород, устала там погосты, дани и оброки по рекам Мсте и Луге и закрепила за собой по Поднепровью перевесища на ловлю зверей. И по всей земле были её ловища и знаменья (меты, зарубки) и места и погосты... А потом по следам Олега собралась она в ладьях легкокрылых в гости в Византию. Византия заставила Ольгу выжидать приёма многие месяцы, но в конце концов она своего добила и была принята в том роскошном дворце, который строился уже шесть веков, со времён Константина, и был теперь в полном блеске – перед недалёким уже концом. Летописец, всячески стараясь разукрасить свою любимицу, рассказывает, как император пленился Ольгой и как предложил ей свою руку, как она, не желая этого, при-

гласила его быть крёстным отцом при её крещении, а когда крещение состоялось, указала ему, что он, как крёстный отец её, жениться на ней уже не может.

Хитрый сам, византиец не мог не восхититься.

– Ах, Ольга... – воскликнул он. – Переключала мя еси!..

Но все это сказка: император Константин был женат, а Ольге было уже за шестьдесят. Не меньше сказки и в тех возвышенных чувствах, которые будто бы привели бойкую псковитянку к желанию креститься. Дело было много проще. Молодая Русь чувствовала себя среди европейских народов какою-то Золушкой, ей было стыдно своего деревенского убожества, и ей хотелось наладить у себя все, как у хороших господ: самые высокие, по-видимому, решения часто внушаются весьма мелкими побуждениями. И, нагостившись в Царьграде, Ольга направилась к дому, увозя не только сокровища духовные, но и добрый запас шёлков греческих, золотых украшений, мыла духовитого, румян и белил. А когда некоторое время спустя византийский двор напомнил ей через послов, что недурно бы и отдарить Византию – принимают: челядь, воск, меха и воев для гвардии... – новая христианка не очень смиренно отвечала своему крёстному:

– А пускай он постоит у меня на Почайне столько же, сколько я у него на Золотом Роге стояла, тогда, пожалуй, и я ему даров пошлю!..

Так что переключать-то она византийца всё же переключала, но едва ли это было очень уж по-христиански.

Своего чубатого воинственного Святослава она очень уговаривала приять благодать святого крещения.

Но суровый воин только нетерпеливо хмурился:

– Да что ты, мать? К чему это?... Дружина смеяться будет...

Эта крепкая чубатая фигура последнего князя-язычника замыкает собой огромный, туманный, «киммерийский» период истории русских степей и лесов и тем самым открывает дверь сказке новой...

II. Два мира

Яко сокол на ветрах ширяся, хотя пѣтичу в буйстве одолети...

Широкий Дунай ослепительно блистал солнечной чешуёй. На том берегу стлался дым от костров византийской армии. Дальше мутно голубели горы... Осень уже разбросала свои пышные ковры по лесам и полям... К песчаной отмели, где дремали под плеск мелкой волны чёлны, подъехал киевский князь Святослав с седым Свентельдом, воеводой, и несколькими дружинниками. Спешившись, они передали коней дремавшим у челнов воям-лапотникам, и князь из-под руки посмотрел на тот берег.

– Ничего не видать... – сказал он и хмуро опустил на борт одного из челнов. – Посидим...

Дружинники сели кто где и как хотел. Лица их были угрюмы: положение русской рати было очень тяжёлое. Все планы Святослава закрепиться в Переяславце среди болгар и сделать из него вместо Киева столицу молодой Руси развалились. И темно было будущее...

Святослав был в полном расцвете сил. Небольшого роста, крепкий, он, казалось, состоял весь из одних мускулов. Многочисленные раны, полученные в последних сечах, он носил как будто только как украшения, приличные воину. На широких плечах его крепко сидела круглая, вся бритая голова с длинным чубом. Длинные висячие усы придавали загорелому лицу суровое, почти дикое выражение. В голубых глазах пряталась какая-то дума. В то время как его дружинники были в дорогих доспехах, сам он был только в белой холщовой рубахе, как и все его вои, и единственным украшением его была золотая серьга в ухе, украшенная двумя жемчужинками и рубином... Это был прирождённый, от колыбели воин. Когда ему исполнилось четыре года, ему, по обычаю, были устроены торжественные «постриги» – дружинное посвящение в князья, в вожди: ему остригли все волосы кроме длинного чуба на темени, впервые посадили на коня, дали оружие, а затем начался в гриднице бешеный пир. И дружину всю, и заезжих гостей Ольга, мать, одарила богатыми дарами по этому случаю. И ещё ребёнком участвовал он с матерью в походе на древлян, убивших его отца, и, начиная сражение, первым бросил в сторону врага своё копьё. Ручонки его были слишком слабы, копьё тут же, под мордой коня, зарылось в песок, но воинственный жест ребёнка восхитил сердца суровых дружинников.

– Князь уже почал... – суровым басом своим крикнул Свентельд. – Потягнем, дружина, по князе!..

И закипела сеча...

И, по мере того как он рос, всё больше становилась вокруг него дружина, все крепче смыкалась она вокруг этого юноши-воина: «Князю Святославу, возрасту и возмужавшу, нача вои совокупляти многи и храбры». Он всю жизнь проводил в ратном поле, «легко ходя, аки пардус (рысь)». Обозов за собой он никогда не водил и не гонялся ни за блеском воинским, ни даже за простыми удобствами. На днёвках он, как и все вои его, резал тонко конину, говядину или зверину и, поджарив мясо на углях, ел. Шатра он не имел, а, постлав на землю конскую попону, клал под голову седло и засыпал крепким сном. Он не считал нужным прибегать к разным воинским хитростям и, снаряжаясь в поход, посылал к врагу гонца: «Хочю ити на вы...» Много утёр он пота со своей дружиной!..

Один поход следовал за другим: не успел он управиться в 964 году с беспокойными вятичами, сидевшими по Оке, как сейчас же нужно было идти на назойливых хазар, в устья Волги, а оттуда ударить по ясам и косогам, жившим в предгорьях Кавказа, а оттуда опять на волновавшихся вятичей.

Император византийский Никифор Фока позвал Святослава на помощь против беспокоивших его болгар придунайских. Святослав быстро покори́л их и – остался там жить.

– Не любо мне в Киеве... – говаривал он. – Я хочу жить в Переяславце на Дунае. Сюда свозится вся благая: от греков – золото, паволоки, вина, овощи, от чехов и венгров – серебро и кони, из Руси – меха, воск, мёд и рабы...

Какую думку задумала эта бритая чубатая голова, об этом знала только одна она, но этот неожиданный наскок степняков с севера на дряхлеющую Византию вызвал в Царьграде великие опасения. Никифор, свергший с престола Романа II с помощью его жены, красавицы Феофано, был, в свою очередь, убит хитрым Цимисхием: кровавая чехарда в великолепном дворце вокруг золотого «трона Соломона» возвещала начало конца. Цимисхий чувствовал, какая опасность таится в перенесении средоточия молодого славянства с берегов Днепра на берега Дуная, и потребовал от Святослава удалиться... Тот не уступил, и началась долгая борьба.

Многочисленная греческая армия окружила небольшой отряд Святослава – у него было всего десять тысяч воев – железным кольцом. Жуть охватила русь.

– Нам уж некуда деваться, братья, – сказал будто бы Святослав дружине, которую он звал то братьями, то детьми. – Хочешь не хочешь, а биться надо. Не посраим же земли Русской, ляжем тут костями: мёртвые срама не знают. А если побежим, осраим себя... Станем же крепко! Я пойду передом, а если голова моя ляжет, вы уж промыслите о себе сами...

Все ободрились.

– Где падёт твоя голова, там и мы свои сложим... – потрясая блистающими мечами, закричала дружина. —

Не посраим земли Русской!..

Русь исполнилась, грянул бой, и – греки побежали. Дорога на славный Царьград была открыта. Не считаясь с ничтожеством своих сил, Святослав степным барсом бросился вперёд. Перепуганный Цимисхий выслал навстречу северному витязю посольство с богатыми дарами: тут было и золото, и камни самоцветные, и паволоки, и узорочье всякое. Святослав бросил на всё это презрительный взгляд и молвил небрежно:

– Отдайте все это моим отрокам...

И не сказал послам ни слова. Смущённые, они возвратились в Царьград. Хитрый Цимисхий отправил тогда новое посольство с новыми дарами: то было самое драгоценное оружие из оружейной палаты дворца. Святослав при виде этих даров так весь и загорелся и, хватая то меч булатный, то щит червлёный, то кольчугу блистающую, все целовал их и, сияющий, сказал наконец послам:

– Благодарю... Скажите вашему царю, что я целую его за эти дары...

Цимисхий понял жест дикаря, опять, как встарь, пошёл на дань, и Святослав возвратился в свой Переяславец «с похвалою великою».

Но близость славянского барса не давала спать византийской лисице, и, оправившись, Цимисхий снова двинул на Дунай свои полки. Борьба была долгая и беспощадная, и, несмотря на резкое неравенство сил, исход её долго колебался то в одну, то в другую сторону. Наконец под Доростолом, лежавшим близко к пределам печенежским, греки победили: среди полков их по повелению Богоматери появился вдруг блистающий святой Феодор Стратилат, и сопротивление Руси было сломлено...

И вот Святослав, побеждённый, сидел теперь на берегу Дуная, ожидая свидания с победителем Цимисхием. Лицо его было угрюмо, но полна жизненных сил была его душа: он придёт опять с Руси – с новыми полками...

Свентельд – почти головой выше Святослава, с густыми сивыми усами, похожими на опрокинутые туры рога, и шрамом поперёк всего лба – осторожно наблюдал за князем. Он угадывал его думку и одобрял её. Свентельд был из свейских варягов. Варягами вообще назывались в те поры народы, которые осели вокруг Варяжского моря: готы, свеи и урмане – по северному берегу его; славяне, немцы и дони (датчане) – по южному. «Идоша за море к варя-

гам к руси, – рассказывает в летописи неизвестный автор, – сице бо ся зваху тыи варязи русь, яко сё друзии зовутся сее, друзии же урмяне, англяне, друзии готе, тако и си». Скоро значение «варяжского» стало ещё обширнее: римско-католическая вера стала называться варяжскою, католическая Церковь носила название «варяжской божницы», и католического священника звали «варяжский поп». На старошведском языке слово *väring* значило только «вояка», вояка вообще, а не норманн, не скандинав только... Все они вели бойкую торговлю по морям, но ещё более бойко разбойничали. Разбойные ватаги эти не смотрели, откуда приходили к ним помощнички, и потому состав всех этих дружин – свейских, урманских, готских, славянских – был всегда очень смешанный. А все вместе были они варяги – удалые добры молодцы с моря Варяжского. Свентельд был родом из сеев, но почти всю свою жизнь провёл среди славян и говорил на их языке как на своём собственном. Тяжёлое положение русской рати не тревожило его сверх меры: и не из таких переделок он выходил. А в крайнем случае можно будет перейти на службу и к Цимисхию: опытные воины-варяги ценились везде, а сражаться всё равно за что. Это делалось всеми.

Тут же в ладье сидел высокий, красивый, молодой, с мягкими голубыми глазами и ленивой усмешкой северянин Федорок. В поисках приключений он увязался как-то с караваном из варяг в греки, заболтался в Царьграде, попал в царскую гвардию, наострился борзо лопотать по-эллински, грамоте выучился и, чтобы не отставать от других, принял даже христианство и новое имя: раньше, в лесах, звали его Ядреем. Но когда греки пошли против Руси, сердце в нём загорелось, и ночью он перебежал к своим. Теперь он немножко опасался, как бы греки не узнали его и не сгребли. Но он служить им больше не желал никак и презрительно звал их почему-то «греками мочёными». Он втайне очень жалел, что крестился в их веру. В особенности противно было ему, что их боги, вроде этого проклятого Федора Стратилата, стоят против Руси: Ядрей-Федорок был бродяга порядочный, но сердце его всё же было крепко привязано к берегам родной Десны. И потому он с лёгким сердцем выкинул небольшую иконку Федора Стратилата.

– Взял боженьку за ноженьки да и оземь... – засмеялся он.

На том берегу махнули чем-то белым.

– Едет... – сказал своим тяжёлым басом Свентельд, вставая. – Пора и нам, княже...

Святослав встал и шагнул в ладью. Лязгая оружием, дружинники последовали за ним. Князь наравне с гребцами взялся за весло. И ладья, носом против течения, боком бойко пошла по блещущему Дунаю. И в то время как подходила она к берегу, от лагеря во главе блистательной свиты показался на богато разубранном коне император Цимисхий. Он был маленького роста – Цимисхий и значит по-армянски маленький, – но широкогруд, мускулист и имел в блестящих доспехах своих очень воинственный вид. Узкая русая борода его была выхолена и напитана благовониями, и смело глядели на дикую, суровую Русь его голубые острые глаза. Святослав, бросив весло и отирая рукавом пот с загорелого чубатого лба, смотрел из ладьи на победителя. И так несколько мгновений мерили один другого глазами – одряхлевший мир Византии и этот новый, неясный, в туманах, мир Степи, только недавно вставший из пресловутого «мрака киммерийского».

– Итак, князь, – с улыбкой на румяных губах проговорил Цимисхий, – мужи наши установили все ряды наши. А под рядами повелел я клятвы наши прописать: сперва от нас, а потом от Руси. От вас мы написали так, как писали при отце твоём, князе Игоре...

Он покосился на переводчика, высохшего грека с носом в виде сливы и вытекшим глазом. Тот поклонился, быстро перевёл слова императора Святославу и прочёл только что выработанный договор:

– А от Руси идёт так: «Иже помыслит от страны Русския разрушити таку любовь, и елико их крещение прияли суть, да приимут месть от Бога Вседержителя, осужение на погибель и в

сий век и в будущий, и елико их не хрещено есть, да не имут помощи от Бога, ни от Перуна». Добро ли так будет?

Святослав кивнул головой. Ему не полюбилось, что Перуна поставили они позади, но он не любил цепляться за мелочи: о главном помнить прежде всего надо. А главное было одно: скорее в Киев и с новыми полками назад. Дом свой надо укрепить на Дунае, откуда будет легко взять за горло всех этих раззолоченных молодчиков. Беседа вождей продолжалась. Один хитрил и верил в силу своей хитрости, а другой всей болтовне этой не придавал никакого значения. Федорок ревниво следил за переговорами. Он не верил «мочёным» ни в одном слове, во всём чуял западню и если не знал, то душою чувствовал затаённую думку князя и всей душой сочувствовал ему: «Ну погодите, мы вам бока-то вот ещё как настратилатим!..»

Сговорились во всём и мужи византийские, с одной стороны, и Свентельд со старшими дружинниками – с другой; тут же на берегу подписали договор.

– А ещё хочу я тебя просить, чтобы ты послал послов своих к князю печенежскому Куре, чтобы он не чинил нам спон при походе Днепром... – сказал Святослав.

– Как же, как же... – сказал Цимисхий с любезной улыбкой. – Посол наш уже выехал к печенегам...

Это была правда: он уже послал епископа евхаитского Феофила к Куре, чтобы тот никак не пропускал руси чрез пороги и постарался бы рать их истребить.

Святослав довольно небрежно коснулся чубатого лба своей грубой, мозолистой рукой и повернулся к гребцам:

– Ходу, братья...

И ладья понеслась через Дунай. Святослав сразу забыл о Цимисхии, о договоре вечного мира и любви, который только что подписали они обо всём, – его думка, его сердце были уже в грядущем. Цимисхий смотрел вслед уходящей ладье, и в душе его шевелилось сомнение: не напрасно ли отпустил он этого дикаря? Но сделанное сделано. Трон его уже шатался, и надо было думать о том, как лучше задушить смуту, которая опять и опять поднимала в его царстве голову.

– Не поставили бы проклятые ловушки чрез печенегов... – хмуро сказал Свентельд. – С этими лисицами говори, а камень держи за пазухой наготове...

Святослав ничего не сказал старому воину, а только крикнул гребцам:

– Ходу, братья... Веселей!..

III. Торжество победителя

Ни хитру, ни горазду суда Божия не минути.

Вдали туманно-розовым маревом встало видение Царьграда: серые зубчатые стены с башнями, пёстрое море домов, и над всем этим огромный, величественный купол Святой Софии, Премудрости Божией. Приветствуя столицу, загремели звонкие трубы. Полки Цимисхия приободрились и с облегчением вздохнули: морской ветер отнёс в сторону жаркую, вонючую пыль, которою они были окутаны, и дышать стало полегче...

Снаружи ещё блестящая, Византия медлительно и тяжело умирала. Гниль шла сверху, из этого огромного, пышного дворца, который белел среди стройных кипарисов на мысу, над голубым туманом моря. Золотой трон императоров превратился в мяч, которым играли окровавленные руки разных проходимцев. Царская власть совершенно утратила в себя всякую веру: на трон смотрели сперва как на приз в головоломной скачке жизни, а потом – как на средство вести жизнь в безумной роскоши. Император Михаил был, может быть, самым ярким представителем этой умирающей страны.

Он начал царствовать трёхлетним ребёнком под руководством своей матери Феодоры, которая умиротворила иконоборцев и торжественно восстановила почитание святых икон. В борьбе за власть, в которой принимала участие и благочестивая Феодора, во дворце начались убийства. Михаилу было всего семнадцать лет, когда он принял бразды правления в свои руки. Все его мысли и желания были устремлены на знаменитый ипподром: прежде всего он хотел добиться славы лихого наездника. Однажды, когда он предавался упражнениям в кучерском искусстве, пришло известие, что аравитяне вторглись в пределы империи и разоряют Азию и что туда нужно немедленно послать помощь.

– Как ты смеешь надоедать мне в такое время с пустяками! – набросился молодой владыка на неосторожного сановника. – Разве ты не видишь, что я занят?

Действительно, ему предстояло при встрече с соперником на ристалище сбить его коней с победоносного среднего пути.

В другой раз, когда он занимался на ристалище, на недалёком холме вспыхнул огонь-сполох. Он пришёл в ярость: зрители в испуге могли разбежаться, и перед кем тогда стал бы он показывать своё искусство? И он раз и навсегда запретил зажигать сполохи...

Своих коней он любил больше своей империи, а из подданных его самой горячей любовью пользовались конюхи. Для лошадей своих он построил дворцы из мрамора и порфира, а у конюхов и наездников сам крестил детей, давая им на зубок по пятьдесят – сто лир золота.

Вероятно, благодаря крайнему благочестию Феодоры он отличался величайшим нечестием. Вместе со своими приятелями и шутами он совершал под звуки гуслей торжественные богослужения, причём в золотые священные сосуды клались горчица и уксус – для причащения желающих. Раз по городу во главе с патриархом шёл крёстный ход – навстречу ему из дворца двинулся другой ход во главе с царём Михаилом, на ослах, в церковных одеждах. Все несли зажжённые свечи, курили фимиам и пели стихи, прославляя беспутство и пьянство. В другой раз царь почтительно пригласил к себе мать, чтобы она приняла благословение от патриарха. Царица, вошедши, приветствовала святителя земным поклоном. Тот ответил ей циничной шуткой. Все закатились хохотом: патриархом оказался шут Грилл! Царица тут же прокляла нечестивца и предсказала ему скорую гибель. А до гибели Миша осуждал людей на истязания, резал уши, резал носы, приговаривал к смерти, а святители – пока это не касалось их – приговаривали, что нет власти, аще не от Бога.

В этот вот разлагающийся среди всякого распутства и крови город и ездила не так давно мать Святослава Ольга для принятия истинной веры...

Цимисхий был не первым и не последним смельчаком, захватившим окровавленный «трон Соломонов»: кто смел, тот и съел. И потому едва стража заметила с зубчатых стен вдали в туче пыли сверкание оружия и услышала резкие звуки труб, как в разубранном коврами, цветами и знамёнами городе – весть о победе над страшною Русью гонцы доставили уже в столицу – началась озабоченная суeta. Из городских ворот навстречу победителю с иконами, знамёнами, крестами и хоругвями вышли самые знаменитые граждане цареградские во главе с блистающим драгоценными ризами духовенством, которое всегда приветствовало во имя Господне всякого победителя. За ними, заливая все, как потоп, пёстрый и малоблагоуханный, бежали с иступлённо-восторженным рёвом толпы народа. И как только Цимисхий во главе блистающей свиты своей подъехал ближе, как загремел всенародный гимн:

«...Ныне давший в руки твои власть Бог поставил тебя самодержцем и владыкою... Великий архистратиг, сошедший с небес, отверз перед лицом твоим врата царства. Мир, поверженный под скипетр десницы твоей, благодарит Господа, благоизволившего о тебе, о государь... Он чтит тебя, благочестивейшего императора, владыку и правителя...»

Под громы гимна Цимисхий спешил, принял благословение от седенького, худенького, с мутными, потухшими глазками патриарха, и ему подвели сверкающую на солнце золотую колесницу, запряжённую четвёркой белых коней. Он, протестуя, поднял руку.

– Нет-нет, это не для меня... – сказал он. – Это для Божьей Матери!

И он повёл рукой на весьма чтимую икону Божьей Матери, которую он забрал в качестве трофея в усмирённой Болгарии. Все были чрезвычайно тронуты как скромностью, так и набожностью императора, благоговейно водворили Божью Матерь на золотую колесницу, и Цимисхий, увенчанный золотой диадемой, снова сел на своего коня. Ему подали венец и скипетр болгарского царя. Сам царь, пеший, в пыли, стоял за его конём. И торжественный ход, в предшествии духовенства, среди рёва толп медлительно двинулся в город. Весь Царьград был убран как брачный чертог. Балконы, окна, кровли, перекрёстки, заборы – везде были люди, и толпы эти ревели в иступлении от восторга победы и от радости лицезрения богоданного монарха... Воины, сверкая доспехами, железно отбивали шаг, и на запылённых, обветренных лицах их было суровое торжество...

Шествие остановилось у портала святой Софии. Блистая ризами, духовенство с великим почётом и многим пением понесло пленённую Божью Матерь внутрь огромного, богато украшенного храма. Цимисхий скромно следовал сзади. Началось благодарственное Господу Богу молебствие за то, что Он послал благочестивейшему императору свою помощь на одоление поганых язычников. Цимисхий умилённо молился: он знал, что ему, царю земному, в эти минуты переполненный храм уделяет много больше внимания, чем Царю Небесному...

Он снова принял благословение от патриарха с мутными, мёртвыми глазами, и снова под руководством опытных церемониймейстеров с золотыми жезлами в руках наладилось в блистающем храме торжественное шествие императора во дворец.

Едва показалось оно на ступенях храма, которые вели на Августеон – огромный двор с колоннадой, отделявший святую Софию от дворца, – как заиграли золотые трубы и в отдалении, за решётками, взревело море народное. Цимисхий окинул глазами роскошный Августеон. Посреди него стоял «путевой столп», весь из колонн и арок, от которого исчислялось расстояние во все концы империи. Наверху столпа был водружён крест, у подножия которого стояли фигуры Константина и Елены, набожно взиравших к востоку. Неподалёку высился огромный памятник Константину, который на этот раз был изображён в виде Аполлона с сиянием вокруг головы, сделанным, как говорили, из гвоздей, которыми был распят бедняк из Галилеи. По другую сторону «путевого столпа» возвышалась конная статуя Юстиниана в образе Ахилла. В левой руке он держал какой-то шар, а правую, как и полагается, простирал на восток...

Цимисхий обернулся к болгарскому царю Борису и приказал ему тут же снять с себя знаки царского достоинства, то есть шитую золотом и осыпанную жемчугом шапку, багряный

плащ и красные сапоги. Воля императора была исполнена. Но он не хотел унижать больше, чем следует, мятежного царя, он хотел быть великодушным, и тут же во всеуслышание он объявил, что жалует Борису достоинство римского магистра. Новый римский магистр почтительно благодарил за милость. Трубы взыграли, толпы взревели – всё было очень замечательно.

И смолкли резкие, торжественные звуки труб, и снова загремел хор:

«Сияют цари – веселится мир... Сияют царицы – веселится мир... Сияют порфирородные дети – веселится мир... Торжествует синклит и вся палата – веселится мир... Торжествует город и все царство – веселится мир... Августы – наше богатство и наша радость – Господи, пошли им долгие лета...»

– Императору... – красиво вывел певец.

– Многие лета... – торжественно вздохнул хор.

– Счастливые годы императору... – поднялось несколько подобранных голосов.

– Господи, пошли ему многие и счастливые годы... – поднял хор к небу сильные голоса.

– И августе... – продолжали певцы.

– Многие лета... – гремел хор.

– Счастливые годы... – настаивали певцы.

– Дажь им, Господи, многие и счастливые годы...

– И детям их порфирородным...

– Многие лета...

– Счастливые им годы...

– Подай им, Господи, многие и счастливые годы...

И среди торжественных, победных песнопений Цимисхий медлительно, сияя, как бог, скрылся в глубине своего роскошного дворца...

IV. На порогах Непры

На Немизе снопы стелют головами, молотят чепи харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела...

Между тем Святослав с остатками своей разбитой рати бежал под парусами по сердитому зимнему морю. Ладей у него осталось всего с сотню, и издали они казались стайкой чаек. Плавание шло благополучно, и душой Святослав был уже в Киеве. Но на Руси была уже зима, и нужно было до весны зазимовать в извивах Днепра, или, как его в старину звали, Непры, на Белобережье. Хватила Русь за эти сумрачные месяцы и голода, и холода, и хвори всякой. Но проходит всё. И вот снова над угрюмым морем засияло солнышко, из Непры лёд валом повалил, а из Ирия, птичьего рая, где птица зимует, табунами несметными понеслась всякая птица перелётная. Русский стан ожил и начал торопливо готовиться к походу взводу, к желанному Киеву. Но сумрачен был старый Свентельд.

– Послушай, княже, старика... – не раз говорил он исхудавшему от нетерпения князю. – Не верь грекам. Большого попа своего недаром посылали они к печенегам... Давай лучше возьмём коней да степью, обходами и ударим на Киев...

– Да где же ты столько коней возьмёшь?.. – усмехнулся в ус Святослав. – Нас до шести тысяч человек будет...

– Да у тех же печенегов в ночи и отгоним сколько удастся...

– А вои? На всех коней не достанешь...

– Главное, тебе в Киев пробиться, княже. А дружина с воями на то и дружина, чтобы своё дело делать. Будут пробиваться...

– Нет, не оставляю братьев в беде... – решительно потрянул чубом Святослав. – Негоже дело ты это надумал. Да и не обманет Цимисхий. Ты просто стареть стал, Свентельд...

– Ну смотри, княже!..

Ядрей-Федорок все внимательно слушал. Он грёб на княжеском чёлне. Как и Свентельд, он совсем не верил грекам-лисицам. Но прав был и князь: жили вместе, бились вместе, так и умирать вместе...

Прошёл лёд, спали мутные воды, и русские ладьи стайей чаек острокрылых и острогрудых вошли в днепровские плавни. В густых зарослях их стоял немолчный шум – на золотых тысяче-струнных гусях своих играл Ярило свадебные песни радостные... На левом берегу начинался тут необъятный лес, который Русь звала Олешьем, а греки Илеей, а за ним залегли знаменитые Меотийские болота, которые и тянулись до самого устья Дона. Тут в великом множестве гнездилась всякая дичь – от маленьких длинноносых куличков до тяжкого вепря и быстрого оленя с ветвистыми рогами. Эта жуткая, непроходимая трущоба представлялась оседлым народам того времени страшным местом, из которого один за другим вылетали воинственные народы-чудовища, заливавшие кровью всё, чего они могли только достичь. Теперь, весной, жизнь в Олешье была ключом: несметные табуны птицы перелётной оглушали. И часто с ладей слышно было, как прёт и ломит непролазной чащей страшный вепрь...

Недалеко уже были и пороги.

– Княже, в последний раз говорю: побереги свою буйную голову!..

– Брось, Свентельд, стращать меня: я не ребёнок... – усмехнулся Святослав. – Двух смертей не бывать, а одной не миновать...

И когда перед самыми порогами остановились в плавнях на ночлег и загорелись костры, Свентельд, пройдя станом, приказал воям заготовить те тростинки с помощью которых славяне так искусно прятались в воде: кто знает, что принесёт с собой утро? И, подкрепившись тем, что было, – все запасы подходили к концу – усталые вои, выставив дозоры по зарослям и по

реке, повалились у потухающих костров спать. Но тревожен был сон их: сердце чуяло близкую беду...

Рано поутру, когда над чёрно-синим Олешьем черкнула слабая зорька, ладьи тихо вытянулись по реке. Стоял густой туман. С берега их не было видно, и только мерный стук и всплеск весел говорил, что стрежнем идёт караван. На ладьях не было ни шуток обычных, ни смеху: не только уши, но и сердца слушали, что происходило на берегах, по островам, в непролазных зарослях... Свентельд был хмур и сердился на князя: дёшево ценит он свою княжью голову!..

Туман стал редеть. Местами заиграл на воде солнечный луч. Впереди показался большой лесистый остров.

– Никак, Хортица? – тихо уронил Святослав.

– Хортица... – подтвердил Свентельд. – Надо помолиться.

И княжая ладья, а за нею и все остальные пригребли к отлогому берегу острова. Здесь исстари, из варяг в греки и обратно, славяне творили поклонение богам и приносили им жертву за благополучное плавание: кур, мясо, хлеб. Не Сварогу таинственному поклонялись они тут, не Хорсу, не блистающему Перуну, не Велесу, покровителю стад и торговли, но тому богу неведомому, близость которого они чувствовали в опасном плаваньи всегда, но имени которого ещё не нашли...

– Тихо... – предостерегающе поднял руку Свентельд.

Дружинники, придерживая оружие, вышли из челнов. Вои остались при судах. И под редющим золотистым туманом, сквозь который там и сям рвались золотые стрелы Хорса, дружинники по ещё вязкой от разлива земле прошли на большую поляну, посреди которой красовался древний, в несколько охватов дуб священный. Почки на нём едва наливались... По знаку Свентельда дружинники вынули из колчанов каждый по стреле и воткнули их в мягкую землю так, что вышел круг. Свентельд шагнул в этот круг с молодым вепрем, которого убили дозорные поутру, и, положив бурую, с белым оскалом зубов тушу среди могучих узловатых корней, преклонил колени.

Все последовали примеру старого бойца... И всё на несколько мгновений затихло в молитве без слов, лучшей из молитв. Солнце вырвалось из тумана и залило радостным светом и воев, и могучий дуб, и сверкающую реку.

И у всех на душе посветлело: не доброе ли то знамение?

Все поднялись и, блистая шеломами и кольчугами, снова пошли к ладьям. Торные тропки от старого дуба к воде показывали, что славяне бывали тут нередко...

Река искрилась огненной чешуёй от встающего солнца. Лёгкий ветерок играл среди островов, и сменяли один другой пряные запахи: илом, опавшей листвой, камышами и беспредельной степью, которая сменила здесь Олешье. И снова княжая ладья впереди, караван вытянулся по старому Днепру к домам отчим... И по знаку Свентельда все осмотрели оружие и положили его так, чтобы было оно под рукой: был уже близок Кичкас, старый перевоз, самое узкое место Днепра нанизу. Здесь был он шириной не больше версты, течение его поэтому было очень быстро, а по левому берегу высились отвесные скалы. Здесь часто печенеги нападали на караваны и грабили их, а иногда брали только с них дань: вокруг расстилались их степи. Но теперь на Кичкасе никого не было – только два печенега верхами стояли на скалах среди золотистых туманов... Завидев русские ладьи, они беспечно, не торопясь, повернули на своих злых, вертлявых коньках в степь...

– Дозорные... – выругавшись, пробормотал Свентельд. – Вот посмотрите, что на Неясытском будет встреча...

Неясытец был самым опасным из порогов. Здесь всякий караван выгружался, и, высадив прежде всего дружину, люди на плечах несли товары и ладьи около двух вёрст...

В торжественном молчании и мерном всплеске весел караван прошёл, теснясь к берегу, порог Стравун и снова выплыл на стрежень. Скоро впереди послышался шум воды – то был

порог Гадючий: здесь Днепр вертится среди опасных камней и воронок от одного берега к другому, как гадюка. И ладьи, близко прижимаясь к берегу, с усилием подымались взводу. Как всегда на порогах, часть воев сошла на берег, чтобы тянуть ладьи бечевой, часть, раздевшись, осторожно проводила ладьи между камней на стремнинах, а остальные зорко оглядывали тихий берег.

И вдруг из-за низкорослого тальника раздался оглушительный, бешеный крик, от которого и у бывалых захолодала кровь, и в то же мгновение туча стрел покрыла весь караван. Свентельд ошибся: печенеги встретили караван ещё до Неясытца. И с копьями наперевес рослые, бородатые, усатые степняки широкой лавой бросились на растерявшуюся русь...

И сразу закипела злая сеча...

Откуда взялись в этих степях бородатые, отважные воины, никто не знает, но они сразу смяли перед собой все и, отличные наездники и стрелки, заняли весь степной край до самого Дуная. Жили они в двухколёсных вежах, в которые они, как и скифы, запрягали быков: для коня, верного друга степняка, запряжка считалась бесчестьем. Вооружены они были мечом, луком, длинным копьём с пёстрым прапором и арканом, часто с железным крюком на конце. Они всегда начинали бой страшным криком и тучей стрел, а потом сразу, не давая врагу опомниться, бросались в копья. И сейчас же, точно не выдержав сопротивления, они кидались назад, а когда противник, увлёкшись, пускался преследовать их, они снова обрушивались на него. Измучив его такими нападениями, они, обнажив мечи, топили его в последнем шквале крови. А в трудную минуту они вихрем неслись к своему кочевью, в один миг устраивали из своих веж городок и сражались, как из-за вала. На Русь нападали они редко: раз при Игоре и раз при Святославе. Но пограбить готовы были всегда.

– Не робей, дети!.. – крикнул Святослав, выхватив драгоценный меч свой, поднесённый ему в дар Цимисхием. – За мной!..

И передом он пошёл в самую гущу этих страшных бородачей, которые всё сыпали из тальника. Русь была прижата к самой воде и должна была отбиваться снизу вверх. Много тел воев, кровеня быстрину, уже плыли, барахтаясь, к страшному порогу. Один, с разрубленным, залитым кровью лицом, успел схватиться за камень «лавы», но силы его быстро слабели, и в огромных глазах стоял бездонный ужас. Лязг и блистание мечей, глухой стук их о щиты, крики, стоны раненых, вой печенегов, плеск воды при падении в неё тел, смятение птичьих стай, шум порога – золотая тишина утра вся налилась бранной тревогой... Положение было ясно: для руси не было даже выбора – победить или умереть. Можно было только умереть. Бежать на ладьях было нельзя: идти можно было только под берегом, и печенеги перебили бы всех из луков, а если подвинуться чуть к стрелю, неизбежна гибель на пороге. Святослав прежде всего хотел изменить чрезвычайно неудобное для отбивающейся руси положение, и он, рубя направо и налево, и сам весь уже в крови, повёл за собой часть дружины так, чтобы обойти левое крыло печенегов, чтобы занять место на ровном лугу, но Курия, стоявший в отдалении на коне, сверкнул саблей – и из густых зарослей в тыл русским снова поднялась туча стрел, и с дьявольским воем новая орда ударила на них. Они были в кольце. Число их быстро таяло, но они не сдавались, а местами даже теснили степняков. Но это было скорее им на погибель: эти кучки пробивающихся вперёд удалцов сами же отрезали себя от братьев. Остановить это распадение русской силы было уже невозможно: вои были уже пьяны кровью, и все понимали, что впереди только смерть. И, топча раненых, своих и чужих, люди рубились один с другим из последних сил, душили, один другого за глотку грызли, рыча, зубами, били обломками оружия в окровавленные лица, и, стелая в смертной истоме, валились, обнявшись, на землю, и окровавленные ноги топтали их...

Святослав, Свентельд и Федорок были прижаты к самой реке. С диким смехом степняки спихнули копьями Свентельда и Федорка в воду.

– К камню!.. – едва успел кликнуть Свентельд. – Падай на дно...

И оба, подбившись под большой камень, осторожно вывели свои камышинки на поверхность воды и затаились. Течения из-за камня на дне совсем не было. Камнем же были закрыты они и от глаз печенегов.

Окровавленный Святослав из последних сил отбивался от степняков. Разбитая на части дружина увидела беду князя в огненном порыве, бросилась к нему на последнюю помощь и ударила печенегов в затылок. Вокруг Святослава стало посвободнее. Он выбежал на взлобок и снова заблестал окровавленным мечом, отбиваясь от разъярённых степняков. И вдруг в ослепительном свете вешнего солнца он увидел чёрную змею, которая летела на него. Это был страшный аркан. Святослав хотел на лету пересечь его, но меч уже затупился, и змея враз крепко опутала сильное, но уже усталое тело бойца. Сильный старый печенег, зааркавивший его, рванул за верёвку, Святослав упал – и в один миг степняки обсели его со всех сторон...

Радостный вой огласил весь берег. У русских воев ослабели и руки, и ноги: это был конец... Ещё мгновение – и печенеги сбивали уцелевших, как скот, в кучу, чтобы гнать за собой в полон, а потом, при случае, – на невольничьи базары... Старый печенег, держа поси-невшую и вымазанную кровью голову Святослава за длинный чуб, бросил её к ногам князя Кури. Горячий конь, захрапев, шатнулся в сторону, но железная рука удержала его. На узде коня, под мордой, висели, по старому скифскому обычаю, скальпы убитых Курей врагов...

– Добро... – кивнул он сивой бородой. – Скажи, чтобы отдали оправить череп на чашу...

В ночи, когда печенеги пьянствовали у огней, Свентельд с Федорком вылезли из воды, захватили коней и понеслись к Киеву...

V. Старое и новое

Беси, подтокие, на зло вводятъ, по сѣм же насмисаються, ввергие в пропасть смертную...

Было очень раннее утро. Над безбрежной синей пустыней лесов тяжёлым синим валом повисла туча. Из-под тучи, из зелёного в этом месте неба, бешеными, весёлыми порывами летел по цветущей земле душистый весенний ветер, и леса с шумом, как море, волновались. Киев только-только просыпался. Это было скорее большое селение, которое от простого селения отличалось только тем, что в середине его был небольшой деревянный городок, детинец, кремль, крепость, куда при беде прятался старый и малый. Над городскими воротами стояли неуклюжие деревянные башни-вежи. Улички были узки, кривы и чрезвычайно пахучи. Лютые пожары то и дело опустошали городок, и он выстраивался сызнова. Ещё при Олеге весь Киев был на горе – «на Подольи не сядяху людье, но на горе», – и караваны из варяг в греки приставали под Боричевым взвозом.

Но теперь был заселён уже и Подол, и там, на Торговище, шла уже бойкая торговля, и над Почайной стоял Велес – покровитель не только стад, но и всякого промысла и людей торговых. Но на Подоле же, на урочище, Козарою именуемом, ютилась уже и маленькая церковка первых христиан во имя пророка Илии. Тут же, на Подоле, проживали обыкновенно и заезжие гости новгородские...

Две версты ниже Подола была другая пристань, Угорская, где ладьи приставали прямо у гор. Тут были убиты Олегом Аскольд и Дир. От Угорья шли горами пещеры, в которых скрывалась всякая босота, отстававшая от проходящих караванов. А ещё пониже привольно раскинулось среди своих вишнёвых садов живописное село Берестовое...

Варяжко, один из старших дружинников, оставленный Святославом при сыне его Ярополке, обходил утренним дозором стены городка. Он подошёл уже к Жидовским воротам – так назывались они потому, что от них тянулась слобода, где жили преимущественно жида, – как вдруг заметил скачущих от леса в золотой пыли всадников. Он с любопытством посмотрел из-под ладони – солнце слепило – на спеющих к городу неведомых гостей.

– Эй, там!.. – крикнул он воям вниз. – Береги ворота!..

Варяжко был полянин, и своё прозвище получил он за храбрость и вообще за эдакую военную щеголеватость. Невысокого роста, стройный, с золотистыми усами, он был в полном расцвете молодой красоты, и не одно девичье сердце на Руси туманилось думкой о нём. Любила его и дружина: он был прост, прям и весь открыт. Дружина разбивалась всегда на партии, которые спорили за близость к князю, подкапывались одна под другую, старались подставить противникам ножку – Варяжко всегда стоял в стороне от этих свар.

А всадники уже пылили среди лая пёстрых собак Жидовской слободой.

– Отцы наши... – ахнул вдруг кто-то. – А ведь это воевода Свентельд!

– Он и есть... Он!.. Уж не попритчилось ли чего?..

Ещё несколько минут, и гриди тесным кольцом окружили прибывших.

– Откуда вы взялись? А князь?..

– Нету у нас больше Святослава, други... – сказал Свентельд. – Большая беда стряслась над Русью...

И он в коротких словах рассказал, как разбил русь Цимисхий, как, обманув, напустил на них печенегов у порогов, как смертью храбрых пал среди своих воев отважный князь. И великая туга полонила сердца всех, опустились чубатые головы, в глазах загорелся сумрачный огонь, и руки невольно легли на жёсткие и холодные рукояти мечей.

– Что было, того не воротить... – сказал кряжистый седоусый дружинник Блуд с угрюмыми бровями. – Вперёд теперь глядеть надо... А даром мы этого еллинским лисицам не спустим...

– Да и с печенегамы посчитаться придётся...

– Что печенеги? Печенегов кто хошь купить может. Надо главных-то заводчиков достать...

– Беда, князь наш больно ещё молод...

– Молод не молод, а повадки давать им нельзя: «Аще ли ся вводит волк к овце, – говорили в старину смысленные люди, – так выносит все стадо...»

Князь Ярополк готовился идти, благо погода стояла солнечная, на ловы. Это был цветущий юноша с русыми кудрями, с голубыми мягкими глазами, с румяным лицом, которое только-только опустил первый пушок. Его жена, Оленушка, черница-грекиня, которую Святослав полонил в разбитом его воями монастыре в Болгарии, пристроившись с гребнем к оконцу, пряла. Несмотря на свои молодые годы, вострая грекиня была хитра и пяличному делу, и прядиву, и хозяйством княжого двора без лености правила. Ей помогала состарившаяся уже ключница Ольги, любечанка Малка, с которой некогда слюбился Святослав. Это от Малки имел он младшего Володимира, которого он ещё ребёнком передал новгородцам и который княжил теперь там вместе с уем¹ своим, Добрыней, братом Малки. Ярополк и Оленушка слюбились накрепко. Да и нельзя было князю не любить это кроткое создание с прелестным белым личиком и огромными сияющими чёрными глазами. Ярополку Оленушка казалась точно праздником каким светлым. Она никогда не требовала от рабынь, чтобы кто из них отрешил от ног её сапоги сафьянные, и говорила о слугах своих с этим своим милым иноземным выговором:

– Кто же я сама, убогая, что предстоят мне такие же человеки, создания Божии? Пусть Бог поручил их нам в рабство, но души их больше наших, может, перед Ним цветут...

Она любила подолгу молиться в особой моленной своей. И даже когда спала она, дорогим собольим одеялом прикрывшись, в ложнице своей, часто шевелились её уста во сне, творя молитву, и вся утроба её подвизалась на славословие Божие. И она считала себя большой грешницей, так как иногда даже на молитве искушал её нечистый: броситься бы скорее к Ярополку своему любимому, обнять бы его накрепко, заласкать всего!.. И потихоньку склоняла кроткая грекиня своего супруга к вере истинной, и незлобивое сердце Ярополка отзывалось на слова её милые. Но соромился он и отца своего сурового, и дружины...

Князь у оконца, в которое рвались солнечные лучи, осматривал одну за другой пернатые стрелы: он был большой любитель доброй снасти охотничьей и понимал в ней толк. Оленушка все пряла, и белые пальчики её проворно и ловко делали своё дело. Ей хотелось плакать: не любила она, когда князь уезжал от неё надолго. И опасность всякая от зверя, и непогодь, и нечистая сила лесная – мало ли что может быть? А пуще всего женщины, которые представлялись Оленушке злее и опаснее всякого зверя...

Вдруг в сенях внизу послышались шаги и голоса дружинников. Низкая, крепкая, железом окованная дверь отворилась, и молодой, стриженный в кружок отрок в кармазинном кафтане и сафьянных сапогах, отбив князю и княгине поклон, проговорил:

– Дружинники пришли, княже: Свентельд с похода воротился...

– Что такое? – испугался Ярополк. – Или с отцом что?

И, не дожидаясь ответа, Ярополк широкими, молодыми шагами вышел к дружинникам в гридню:

– Свентельд!.. Откуда ты? Что случилось!

¹ Дядей. (Здесь и далее примеч. авт.)

– Недоброе, княже, случилось... – отдав поклон, суровым басом своим отвечал тот. – Приказал тебе твой отец долго жить да над нами княжить, а по нём велел тризну добрую по старинному обычаю справить...

Красивое лицо Ярополка побледнело. Он едва успел перехватить рыдание: было бы стыдно плакать пред дружинниками, как баба какая. Но и они потупили глаза, и у них горло точно аркан печенежский перетянул. Святослава многие осуждали за то, что он бросил Киев, мать городов русских, свою дедину, но не могли люди не дивиться отваге этого степного орла, ширявшего под облаками... Уже отцветшая, с едва видными следами былой красоты Малка, убиравшая в кладовую всякую готовизну на зиму, услышала, проходя передней с кадучкой душистого липового мёда, тяжёлую весть и, невзвидя света, давясь рыданиями, спряталась в подклеть. Давно то было, эта его орлиная любовь к ней, но до сих пор лелеяло память о тех днях её сердце. Сына отнял отец, отца отняла смерть – и вот осталась она на белом свете одна-одинёшенька...

И взволновался сперва княжой двор широкий, а за ним вmale и весь город тревогой: а ну, что теперь, ребята, нашим головушкам будет?.. И зазвонил на весь стольный город колокол вечевой, и со всех концов потянулся, оживлённо переговариваясь, народ киевский на площадь, где стоял великий бог земли полянской Перун с секирой в руке. Пред Перуном, как всегда, дымился неугасимый огонь из плах дубовых. В стороне от него стоял помост деревянный, с которого князья давали людям суд и расправу. Торопливо бежал с любопытными лицами чёрный народ. Шли болгаре заезжие в своих овчинных шапках, жида в халатах пёстрых, шли рослые голубоглазые шведы, и урмане, и готы из города Висбю, только что прибывшие по торговым делам, и бойкие, зубастые новгородцы, и хмурые древляне из лесов своих, и ляхи щеголеватые и спесивые, и гости хазарские, гости ростовские, гости с Белаозера, из Чернигова, из Полоцка, из Царьграда. Гридни окружили помост, чтобы не теснило людье князя. За ними, ближе к помосту, старые дружинники стали. Немного их уж осталось: большинство сложило головы в болгарском походе да на порогах. Величаво, закинув головы и подняв белые бороды, ни на кого не глядя, прошли расступающейся толпой передние мужи, советники князя, бояре именитые. И предшествуемый отроками в пестроцветных одеждах Ярополк поднялся на помост княжеский, поклонился народу своему полянскому на все четыре стороны и поднял руку. Шум на площади стих.

– Кияне!.. – молодым, неустановившимся голосом громко сказал Ярополк, и, как всегда, румянец от смущения залил его красивое лицо. – Волею богов ваш князь, а мой отец в сече с печенегами сложил свою голову за землю Русскую. Хотите ли меня? Люб ли я вам?

– Хотим... – зашумел народ, хотя мягкость князя и смущала его. – Хотим... Больно люб!..

И, по обычаю дедовскому, все тут же, перед Перуном, поклялись на мечах молодому князю в верности...

Над шумевшей площадью на помосте встал тяжёлый, суровый Свентельд и, опираясь на меч обеими руками, степенно повёл рассказ обо всём, что привелось пережить ему на берегах Дуная светлого, на море синем и в тот роковой день над шумными порогами. Все внимательно слушали. Тишину нарушало только щебетанье недавно прилетевших ласточек да перелаиванье собак... И, слыша о гибели стольких храбрых воев, застонал Киев, и жирная печаль потекла по земле Русской...

И когда кончил Свентельд, зло зашумел народ киевский на широком торговище. Одни кричали против печенегов, другие против еллинов поганых, кулаками грозились: несмотря на своё поражение, молодая Русь, чувствуя в себе брожение вешних сил, дерзко не опускала очи ни перед кем. И молодой и пригожий князь объявил народу, что сейчас же начнутся приготовления к тризне всенародной по князе, а потом, по обычаю дедовскому, поездство будет, игры ратные – всем на посмотрение, а Руси на славу, но что по все эти дни в городе должно быть

великое бережение: печенеги, может быть, ждут замешательства в делах киевских и захотят помериться опять с Русью силой – так пусть стражи со стен берегут Поле...

– Варяжко, мы все на тебя надеемся... – обратился князь к молодому дружиннику.

– Будь спокоен, княже: дела не упустим...

– А потом с помощью богов соберёмся мы ратью на печенегов... – продолжал князь. – И изопьём, как отец наш Святослав, шеломом и Дону, и Волги, и Дунаю...

Молодшая дружина, сверкая мечами, разразилась воинственными криками и зажгла священным воинским огнём сердца старых дружинников – и вокруг Ярополка вырос лес мечей и копий. Торжественно было это мгновение обручения молодого князя молодой Руси, и все в суровой картине этой было деревенски просто, деревенски молодо и сильно... И, расходясь узкими заулками городка, кияне возбуждённо обсуждали события...

Особенное возбуждение царило среди немногих христиан киевских. Если число их и при Святославе прибывало потихоньку, то многие вящие мужи снова отшатнулись от них в старое поганство, за князем потянули, который хотя новой веры и не теснил, но и не поддавался ей. А о молодом князе Ярополке все согласно сказывали, что он больно бы склонен был принять веру истинную: и бабка Ольга, и молодая любимая жена Оленушка уже подготовили его достаточно. А за ним, известно, потянут и все, и так и осияет свет Христов землю Русскую...

И сперва шло у оживлённых христиан все согласно, по любви, а потом, как водится, разгорелись, распорились, в жесточь вошли: всякому верховодить хотелось и другим дорогу указывать. В особенности крепко схватились около крошечной деревянной пятиглавой церковки пророка Илии, над ручьём, на Подоле. Спорили двое: поп, отец Митрей, чёрный, как жук, грек с жирно лоснящейся чёрной бородой и огневыми глазами навывкате, да старый Берында с изъеденными зубами и похабной бородёнкой. Одет отец Митрей был в иматий, эдакий длинный и просторный халат с широким отложным воротником, а на голове была скуфейка поповская. Маковка его была по-тогдашнему выстрижена; это называлось венчиком, гумёнцем, а в просторечии – поповой плешью. Попы тогда долгих волос не отпускали, по Павлу: «Муж, аще власы растит, бесчестие ему». Гумёнце это выстригалось потому, что сие являет как бы терновый венец, его же носил Христос, и потому ещё, что апостол Пётр от противящихся словеси его обрит был, «яко ругу (наругание) приим от них». Берында же был одет в лохмотья.

Он часто хаживал гребцом с гостями даже до Царьграда, и не раз крестился там: при всяком крещении от радетелей полагался дарок. Теперь он добивался места свещегаса – пономаря – при церкви пророка Илии, а поп Митрей, не терпя его сварливого характера, не допускал его, и между ними шла такая свара, что отец Митрей уже раскаивался, что он не уступил сразу. Но очень уж неуютен был этот старичишка с похабной бородёнкой его: родила тётка, как говорится, жил в лесу, молился пням...

– Нет, на вас, греков, надежда плохая!.. – кричал, вызывая одобрение толпы, Берында. – С вами говори, а камешек за пазухой держи... Недаром вас лисицами прославили... То ли не будет между нами и вами мира, умные люди сказывают, али камень начнёт плавати, а хмель тонут...

– Верно!.. – подтвердил из толпы Ядрей-Федорок.

– Невегласы!.. – презрительно, с сильным иноземным выговором бросил отец Митрей. – Паул, святой апостол, светило мира сего, вещавает...

– Паул... – презрительно оборвал его Берында, готовый всегда спорить со всеми и про всё. – Паул твой скольких крестьян-то перемучил?! Паул... А у нас тут сам апостол Ондрей прошёл и горы наши благословил, и крест водрузил...

Двое новгородцев, один пожилой, грузный, с сивой бородой, а другой молодой, с бойкими, ёрническими глазами, остановились послушать учёный спор. И захохотали.

– Вазы его!.. – подцыкнул молодой Берынду. – Рви его в клочки, грецкое отродье...

Но поляне почувствовали себя оскорблёнными иногородним вмешательством.

– Вы, плотники... Не чеплять!.. – слышались недружелюбные голоса. – Раз ты в гостях, и держи себя гостем. А то и по рылу получить можно...

– Сдачи не задержим... – бойко отрезал новгородец. – Мы народ к тому привычный...

– Да не ввязывайся ты, осина горькая!.. – досадливо остановил его старший товарищ. – Так вот и липнет, что банный лист к ж...

– Наше святое Еуангелие... – начал было наставительно отец Митрей, но Берында не дал ему и слова молить.

– Еуангелие!.. – закричал он. – Ты думаешь, что ты поп, так всем и указчик?.. Много таких-то мы видали!.. Да что, братцы, – обратился он к толпе за сочувствием. – Они там, в Царьграде-то, на нас вроде как на скотину какую смотрят... Самое письмо наше ниже не знай чего почитают... А наши словенские письма святейша суть и честнейша, свят бо муж сотвори я есть, солунский Кирилл-философ, а греческая – вы, еллини погани...

Грек бешено махнул рукой и торопливо скрылся за церковкой: он сердился на себя, что связался с невегласами и уронил своё достоинство. Новгородцы, смеясь, пошли к своим ладьям. Толпа галдела.

Князь Ярополк с дружиной направился между тем к гриднице: надо было крепко совет держать, как и что теперь делать. Гридницей называлась мирская храмина, которая в непогоду служила и местом суда, и для пиров, и для всяких собраний. Но была и особая, княжая гридница в терему княжеском...

– Ты что, Свентельд, голову повесил? – ласково спросил он старого воина.

– Да что, княже, не любо мне наше дело!.. – вздохнул тот. – То была Русь единой, а теперь опять на три стола разделится... Негожее дело...

Варяжко молча посмотрел на него и тряхнул головой: эта думка тревожила и его...

С Подола доносился ожесточённый галдёж: то вокруг церковки пророка Илии все спорились «крестьяны»...

VI. На полюдьє

Не погнетиши пчёл, меду не есть.

О походе на греков и даже на печенегов пока думать не приходилось: надо было и казны побольше собрать, и оружия заготовить, и ладей, и воев. И так незаметно подошли первые заморозки. Смерды-посели убрались уже с хлебом, запаслись готовизной всякой, в опустевших полях поднялась уже зелёная вершь (озими), и пора было князю и дружине на полюдьє идти, дань, оброки и дары собирать для казны княжеской. И вот в Новгород отправил Ярополк Яна Вышатича, молодого, но смысленного дружинника, Блуд к вятичам непокорным поехал с добрым отрядом, Свентельд – к кривичам, а воевода Волчий Хвост – к радимичам, которые в баламутстве вятичам не уступали нисколько. А теперь пришёл черёд и ему самому...

И вот раз ядрёным осенним утром, когда подмёрзшие дороги звенели под копытами коней как железные, во дворе княжеском на конях, при оружии собралась молодшая дружина, молодь, разноплемённые, разноверные, с бора да с сосенки, но крепкие, весёлые, здоровые, молодец к молодцу. Большинство из них и выросло вместе с князем под стягом воинским. «Мы сами вскормили князя себе», – говаривала часто дружина... Шутки так и сыпались. Весёлый хохот яро взрывался в морозном воздухе, в котором реяли, искрясь на солнце, первые снежинки. Кони скребли от нетерпения копытами мёрзлую землю, звонко ржали, грызли удила и всячески просились в дальнюю путь-дороженьку. А князь всё не выходил: красавица Оленушка, от слёз неутешных вся опухшая, никак не хотела отпустить от себя своего ясна сокола. Лёгкое ли дело: до самой распутицы внешней отъезжает её князь!.. Понимала она, что нельзя иначе, что должен князь своей земле суд и управу дать, да сердце женское уговоришь разве?.. И Оленушка, жарко обняв Ярополка, лежала хорошенькой головкой своей у него на груди и не отпускала никак...

– Оленушка, лебедь моя белая... – целуя её, говорил тронутый её горем князь. – Да что ты, касатка?.. Словно в могилу провожаешь меня... Разве я долго?.. А сколько мехов привезу я тебе: и бобров седых, и соболей, и чего только твоя душенька не пожелает!..

– Ничего... мне... не надо, сокол мой ясный... только бы очей с тебя не спускать... – едва говорила она и вдруг решила: – Ах, иди уж, иди!..

И она судорожно жала его в последний раз, перекрестила истово, по обычаю веры своей, и оттолкнула от себя, а сама бросилась лицом вниз на постелю смятую... Ярополк, закусив губу, из лица весь белый, опрометью бросился из ложницы вон. У крыльца отроки уже держали в поводу его любимого коня в уборе княжеском: чепрак – по-тогдашнему подклад – был чёрного бархата, золотом шитого, блистала набором нарядным уздечка, а под стройной шеей коня, по обычаю стародавнему, скифскому, висела большая кисть, науз, – только у скифов кисть эта из вражеских скальпов сделана была, а у русичей делали её уже из шёлков цареградских многоцветных... Дружина встретила князя восторженными кликами. Ярополк улыбнулся оживлению молодежи и незаметно покосился на терем. Но Оленушка неутешно рыдала на постели своей соболей, и над ней, утешая, стояла постаревшая добрая Малка...

И, покая копытами, с князем во главе дружина весело выехала за дубовые ворота в улочки узкие... Там растянулся уже обоз княжеский: на полюдьє полагалось не только собирать дань да дары, но иногда, когда нужно, и отдаривать. За княжеским обозом тянулся обоз гостей, ехавших торговать по торгам и торжкам. Хотя славяне и не обижали заезжего человека, всячески здоровье его оберегали, всячески, по завету дедовскому, чужеродцам примолвливали, но всё же были по лесам и лихие люди – и под защитой дружины княжеской было повольготнее. Гость был для князя после дружины самый первый человек: торговля составляла важнейшую

часть доходов его и была тем более необходима, что большую часть дани и даров князь получал натурой, произведениями своей земли...

И гости, весело переговариваясь и в рукавицы похлопывая, – не столько от утренника ядрёного, сколько от удовольствия, – выровнялись за заколыхавшимся княжеским обозом, шли рядом со своими колами и покрикивали ласково на коней. Ядрей-Федорок, двоевер, тоже увязался за обозом: что-то по родной севере взгрустнулось ему и захотелось повидать своих.

– Варяжко, где ты? – подъехав к Лядским воротам, крикнул князь.

– Здесь, княже... – отозвался тот из-за толпы, провожавшей князя.

– А я и не заметил тебя... – сказал Ярополк. —

Ты смотри, побереги у меня Киев... И княгинюшку свою я на тебя покидаю...

– Будь покоен, княже... Ты знаешь мой обычай: на деле по одной половине ходи...

– Молодец... Ну, здрав буди, Варяжко... И вы все, кияне...

– Да хранят тебя боги, княже... Счастливого пути... Возвращайся к нам поскорее...

И синяя пустыня подступавших к самому Киеву и затихших к зиме лесов поглотила караван. Казалось, что Киев не то что за сотни вёрст где-то, а что его и совсем на свете нет: так дико и пусто было всё вокруг. И все, разговаривая и смеясь, зорко наблюдали за знаменами всякими: слушали и птичий гай, и ухозвон, и бучание огня на привалах, гадая, благополучна ли будет путина.

Промёрзшие дороги – они служили больше всего для гостей и потому так и звались гостиницами, а то и просто гостинцем – змеились по вековым лесам, и по сторонам виднелись только едва приметные тропы звероловов да их меты. Только изредка попадались посёлки, окружённые ролыми землями – пашней – да сеножатями. Гобино – урожай – было уже убрано, и в пустынных полях, под туманами, стояла тихая печаль-тоска... Посели, заслышав по лесу звонкому шум каравана, прежде всего торопились спрятаться в непроходимые трущобы, в твердь, в крепь, и только немногие храбрецы показывались среди этих взъерошенных, беспорядочно разбросанных по кособогу избёнок, чтобы приветствовать князя низким поклоном...

Жили славяне очень разбросанно, по недоступным трущобам, любили свободу и независимость превыше всего, не терпели никакого обладателя, и только с большим трудом, с мечом в руке, можно было принудить их к повиновению. Управлялись они всенародно, то есть жили в постоянных несогласиях: на чём порешат одни, на то не соглашаются другие, и ни один другому повиноваться не хочет ни за что. Чужая душа всё бессилие человека среди тайн мира, славяне вообще любили предоставлять дела свои случаю и вержением стрелы, например, решали споры всякие: и выбор суженой, и выбор старейшины... Власть князя была, в сущности, призрачна: ему повиновались только там и тогда, где и когда его видели, а то жили на всей своей воле. И князь с дружиной чутко схватывали, где можно понажать, а где нельзя. Седое предание рассказывает, что когда князь Володимир ходил на камских болгар и рать его забрала пленных, то его уй и воевода Добрыня, человек положительный, осмотрев пленников, вдруг решил:

– Нет, эти нам дани давать не будут – погляди: они все в сапогах. Поищем давай лучше лапотников...

И связаны славяне были разве только одной кровною мезьей: всякое убийство вело за собой бесконечный ряд других убийств...

Семьи они большею частью ещё не знали, а жили родом по своим дединам. Жены считались собственностью мужа и переходили по наследству от отца к сыну. Поляне, жившие на большой дороге из варяг в греки, имели нрав более тихий и некоторые брачные обычаи: стыденье к своим снохам со стороны свёкров, стыденье к сёстрам со стороны братьев, стыденье к матерям и родителям своим, к свекровям со стороны зятёв и к зятям со стороны свекровей имели великое стыдение. Не ходил жених по невесту, отыскивая её где ни попадя, а невесту приводили вечером, а наутро приносили, что по ней давали приданого. Древляне, радимичи, вятичи и севера, напротив того, жили зверинским обычаем: убивали один другого, ели все

нечистое, срамославье у них было перед отцами и перед снохами, и ходили они на игрища «межу селы» и там умыкали себе жён, с которой кто совещался, и имели по две, по три жены. То же творили и кривичи, и прочие «погание»... Так, по крайней мере, уверяли потомство христианские летописцы.

Плодясь и множась под защиту богов своих, они все дальше, все шире «рассекали дор» – расчищали заросли – и топором клали по деревьям знамения, рубежи – от «рубить», – обозначая определёнными метами своё бортевое ухажье или свои путики охотничьи, пасные на зверя и силовые на птицу. Знамения эти были неприкосновенны и нерушимо закрепляли за промышленником право собственности. И крепко помнил всякий род межи свои: от ржавца к дубу старому, а от дуба на берёзу, а на берёзе грань, да на липу, да на две ели, да на вяз, а на них грани, да на три ели, из одного корени выросли, да на две осины виловатые, да к кряковистому вязу, а от вяза на мох.

Не торопясь пришли в Вышгород. Он сидел на грани земли Полянской – отсюда начинались древлянские владения, – на опушке лесов, над Днепром. Вышгород был небольшим, но очень бойким городком, так что с добродушной насмешкой его величали даже Киевцом. Население уже поджидало князя: день его приезда был и первым днём осеннего торго. Посели из лесов не только поджидали гостей с товарами, но и сами привезли на продажу всякого добра: меду, кож, шкур звериных, воску, птицы битой, скота... И княжьи тиуны – управители, – и гости что поценнее, в повозки свои забирали, а что попроще в амбары свои складывали, чтобы по яроводью в Киев ладьями сплавить. Некоторые в ожидании весёлой братчины успели уже хлебнуть берёзовицы, которую наострились они уже навеселять хмелем. И потому в промёрзших проулках между беспорядочно поставленными избами было шумно и весело. Слышались песни.

Торговые, сыпля шутками да прибаутками – покупателей подвеселить надо, – разбивали на площади свои вежи. И старый, и малый, кутаясь в духовитые кожухи свои, дивились их богатствам. Тут были и ткани всякие, и секиры, и бусы девкам, и иголки, и нитки, и огнива заморские, и всяка штука нараспев. И сразу закипел весёлый торг. Несмотря на то что деньги были чрезвычайно разнообразны: и металлические, и кожаные, – гривны, ногаты, куны, резани, серебряные арабские диргемы, веверицы, монеты греческие, монеты римские, и готские, и урманские, и свейские, – несмотря на то что был и особый счёт новгородский, и киевский, и ростовский, и низовой, и прочие, вышгородцы, народ тёртый, не смущались этим. Бойко шла и мена, товар на товар... Другие несли со всех сторон всякой снеди для братчины весёлой: кто часть свинины, кто меду, кто зверовины, кто хлеба, кто чего... И хозяйки торопливо готовили пированьице, почестный пир про князя ласкового и про дружину его...

То же самое в эти осенние месяцы шло и по всей Руси, где старые дружинники в сопровождении полевицы удалой правили дело княжеское. Они шли от князя, а от них выступали местами откупщики-промышленники. Сбор дани для промышленников был делом выгодным, но нелёгким. Приходилось терпеть и стужу, и всякую нужу. Иной раз враждебные данники не давали им даже пропитания, и они помирали с голоду. Малыми отрядами ходить было трудно, их иногда побивали без остатка. Были местности, куда можно было пробраться только на лыжах или нартах, а в иные ход был только летом. Люди жили вообще в крепостях великих, подальше от всего: осенью болота их обошли и зыбели великие и ржавцы, а зимою снега непролазные...

Для крепости дани иногда забирали талей, то есть заложников. Иногда вдруг выходил приказ: князь соболями дани больше не берёт, а требует хлеба – только таким путём можно было заставить лесовиков орать землю. Часто они подымались и по-свойски разделялись и с волками-промышленниками, и с волками-князьями. Иногда возникало «дружинное неистовство». Часто, прежде чем Киев узнавал о новой области, там уже хозяйничал какой-нибудь промышленник, ставил от себя городки и вёл с лесовиками торг. Но свои пути гости скрывали и стращали всех великими опасностями...

Вышгород шумно пировал. Везде горели огни. Везде слышались весёлые песни. В особенности бурно кипело веселье в гриднице боярина-наместника, перед ярко освещёнными окнами которой толпился народ. И вдруг запылаха там весёлая осенняя песня:

Ай на горе мы пиво варили,
Ладо моё, Ладо, пиво варили... —

и слышался мерный, подмывающий топот, и посвист молодецкий, и хохот, и звуки чокающихся чаш и турных рогов.

Мы к этому пиву все вокруг соберёмся,
Ладо моё, Ладо, все вокруг соберёмся...

Седоусый посель вдруг нелепо взмахнул руками и притопнул:

— Эх, и гоже поют дружинники!.. Расступись все!.. Плясать буду...

Все с хохотом расступились. Он сделал было молодецкую выходку, но с удивлением заметил, что новые лапотки его точно к земле примёрзли. Хватка была берёзовица у побратенника, говорить нечего, но тем не менее в чём же дело?.. Он тупо рассматривал свои лапотки, которые теперь не подчинялись ему, и вдруг заплакал над своим бессилием и сиротством. Вокруг все хохотало.

Мы с этого пива в ладоши ударим...
Ладо моё, Ладо, в ладоши ударим... —

гремело в горнице под мерный топот:

Мы с этого пива все перепьёмся...
Мы с этого пива все передерёмся...

Стая гусей серых, опозднившая что-то в странах северных, налетела на Вышгород и, увидев эти огни и услышав весь этот весёлый, праздничный гомон, побочила в луга и с тревожным гоготаньем скрылась в звёздном мраке...

VII. Душа лесов

Иже молятся огневи под овином, и вилам, и Мокоши, и Симарглу, и Перуну, и Роду, и Рожанице, и всем, иже суть тем подобны... И поклоняются дуплинам, убрусцам обвешивающе.

Жизнь лесовиков вся, до последнего уголка, была пропитана своей лесной верой, рождённой в свежем смолистом дыхании этих пустынь, где человек был так ничтожен, а Бог так близок и велик. Самой характерной, самой резкой чертой этой лесной веры была её безграничная свобода. В одном древнем писании есть прекрасное и глубокое место: всех языческих богов нельзя и перечесть, говорит летописец, *каждый человек тогда своего бога имел.*

Каждый человек и должен иметь своего Бога: зеркала душ из тайн мира вмещают в себя только то, что они вместить могут. И тогда это сказывалось особенно ярко. И до такой степени понимали тёмные лесовики эту необходимость свободы для человека в таинственной области веры, что у них не было даже никаких жрецов, которые всегда эту свободу превращают в неволю жестокую. У лесовиков перед лицом богов выступали только те, в чьём вещем сердце тайные голоса звучали особенно сильно.

Когда отдалённые потомки этих лесовиков оглядываются теперь назад, им кажется, что позади ничего, кроме грубых суеверий, не было. Но это очень наивное самообольщение: только прогрессивным парикмахерам да всезнающим газетчикам, увидавшим аэроплан, кажется, что они бешено идут вперёд. Понимать жизнь в её глубинах можно, только отказавшись от этих детских иллюзий. Люди думали и тогда, и часто их молодая, свежая, не засорённая мусором веков мысль, мысль не на продажу, мысль без горделивой подписи выносившего её, мысль для себя, мысль для мысли, была мыслью глубокой и животворной. И очень рано, ещё до всякой «истории», эти никому не ведомые мыслители в липовых лапотках почувствовали и поняли, что за извечной игрой мира стоит Тайна. И этой Тайне дали лесовики имя Сварога, Единого Бога, Бога богов, все освещающего, все животворящего, и, падши среди лесов и степей, они умиленно поклонились Ему...

Но этих лесных мыслителей и степных поэтов, в тиши своих пустынь открывших главное в жизни, постигла та же участь, которая через века и тысячелетия постигла других помазанников Божиих: их светлые откровения оказались непосильными для их собратьев-лесовиков. Их мысль, преломляясь в этих маленьких и робких душах, разбилась на многоцветные осколки, и вот рядом со Сварогом, Богом Единым, незримым Светом света, появились от Него исходящие боги-сварожичи, дети Его, более к людям близкие, более им понятные. По существу, они были всё тот же Сварог, но их можно было видеть, слышать, осязать, и это роднило с ними, это было успокоительно и приятно. Как принести благодарственную или умиловительную жертву незримому Богу Света? И вот ни в едином пергаменте, от сторевавших веков уцелевшем, нет ни единого слова о жертвоприношениях Сварогу. Он был, и этого было вполне достаточно, а разговаривал человек с исходящими от него сварожичами, Его воплощением для людей.

На первом месте среди многочисленных и часто смутных сварожичей стоял бог-солнце, Дажбог, или Хорс, ежегодно, сделав своё дело, умирающий и ежегодно же среди зимы восстающий из мёртвых для того, чтобы снова оживить землю, согреть угасшую было в дыхании железных морозов жизнь. Блистая золотой колесницей своей, великий бог ежедневно совершал свой животворный объезд земли, а когда, случалось, злые духи, закутавшись в синие грозные тучи, пытались погубить его, тотчас же на помощь Хорсу являлся его брат-сварожич Перун и, грохоча золотой палицей своей так, что сотрясалась вся земля, и сыпля золотыми стрелами, разил направо и налево врагов Хорса, врагов жизни, в то время как третий сварожич, Стрибог, бог ветров, рвал их на части и уносил прочь. И старцы, кудесники, вещуны, ведуны, исполнен-

ные знатной премудрости, волшебного ведания, вещества, набожно склонялись перед силами божественными и истово шептали: «Высокий богам, великий, страшный, ходящий в грому, обладающий молниями, возводящий облака и ветры от последних краёв земли, призывающий воду морскую, отверзающий хляби небесные, сотворяющий молнию, повелевающий облакам одождити дождь на лице земли, – да изведёт нам, детям своим, хлеб в снедь и траву скотам...»

Рядом с этими внушающими священный ужас своим могуществом, но благотворными человеку богами стоял сварожич Велес, бог скотий, высокий и великий Пастух, еженощно выгоняющий стада звёздные на небесные пастбища. Он был покровителем и стад земных, и торговли и, любя игру на гусях яровчатых, благоволил к певцам, которым так охотно внимали лесовики и которых за великое искусство их величали внуками Велеса и были уверены, что певца добра милуют боги...

И жила в небесных обителях светлая Мокошь, богиня-луна, покровительница жён-родильниц, а через них рода. Женщины особенно чтили её и в нужное время ставили ей тайно трапезу. Особенно торжественно молили её, светлую богиню, женщины в начале осени, почему и получили эти последние золотые дни весёлое название «бабьего лета»...

И кроме этих богов-сварожичей было немало количество иных, земных богов и божков: и Семарыгл, бог огня, и Ярило-Ладо, светлый бог весны, бог земной любви, и вилы, воздушные девы жизни, и берегини, мавки, русалки, в которых жили души умерших. В лесу жил зелёный, остроголовый леший, великий озорник, в полях – дед-полевик, во дворе – домовый, дух предков, дух рода, шур, пращур. Когда лесной человек строил себе новую избу, он первым делом благоговейно переносил в неё горящие уголья со старого очага и ласково приговаривал: «Милости просим, дедушка, на новое житьё...» И домовый с удовольствием следовал за ним...

И, чувствуя вокруг себя смущённой душой движение таинственных сил жизни, лесовик веровал и во всякую нежить, жуткую, безликую, безымянную, верил в оборотней зловещих, верил в души предков, незримо блюдущих над своим потомством. Но больше всего верил он в жизнь: на масленицу первый блин выставлял он на слуховом оконце для своих покойничков, а при первой оттепели говорил: «Родители вздохнули». Теплом веяло в жизнь из родительских могил, а не холодом. И чуть покажется на горах, на проталинках – он любил класть своих покойничков по высоким, «красным» местам – первая травка, все они спешили отнести им святой покров Радуньи и там, на могилках, совершить эту весеннюю трапезу с родами родов. Это время так и называлось – Красная Горка. Красный не только в глубокой старине, но и тысячу лет спустя на народном языке значит не только прекрасный (красная девица), но и солнечный: те избы, которые в деревне смотрят окнами на солнце, зовутся и теперь красной стороной. А белорусы и до сей поры эти радостные вешние дни зовут Дедами. И старики закликали покойничков, призывая их пировать вместе, а молодёжь в это время воинскими играми сердце тешила, и кружилась яркоцветными хороводами на полях «межю селы», и пела песни светлому Ладу, богу любви и жизни, и добрый молодец под шумок умыкал ладу свою. А вокруг по всей зазеленевшей земле пели, шумели, любили, радовались прилетевшие из Ирья птицы – души покойничков. И не только в птицах малых были заключены души ушедших, но и в бабочке нарядной, и в жуке – во всём. Всё было живое, всё было вечно, то есть знания тайного, невыразимо исполненное, всё было – одно...

И если обозы гостей, приехавших торговать, и поленица удалая, пришедшая с князем за данью, незаметно вносили в эту жизнь неуловимые новые нотки, то, в свою очередь, и они, надышавшись лесными тайнами, подчинялись душой этим седым верованиям. Не всё в них было ясно и отчётливо, но в этом-то и была главная прелесть их: жизнь, слава богам пресветлым, не торговый счёт!

Не верить в тайну в лесах было невозможно: в пустынях этих звёздными ночами властно говорил в душу Тот, Кто живёт одновременно и над звёздами, и в глубине души человеческой, эти звёзды созерцающей. Они сами, своими глазами видели между стволами могу-

чего леса туманного лешего, слышали по лесным трущобам его свисты, его крики дикие, его плескание в ладоши, слышали, как он, все ломая, убегал от них чащобой. Не он ли, озоруя, сбил их раз с пути-дороженьки среди бела дня и завёл в ржавцы неоглядные, в дрягвы непроходимые?.. Они сами, своими глазами видели, как взвихривает, играя, воду дед-водяной, а вечером, после заката, в лунном сиянии они видели светлые хороводы русалок вокруг дремлющих камышей. И не кричал ли над их головами таинственный див², кличущий вверху древа-дуплины?.. Не творила ли им нежить на пути всякие споны и запятая?.. Не шептало ли им в душу ночью, у костра, на привале, волшебное царство трав росистых, нерукодельное, но премудро устроенное?

Не их ли очи слепил Перун громоносный своими золотыми стрелами, одним ударом сваливший на их глазах дуб многоохватный? И даже те из них, немногие, которые сами не знай зачем приняли эту новую несуразную веру в бога распятого, в такие минуты чувствовали власть богов старых. И потому, когда их соратники, веры иноземной не причастившиеся, склонив колени в тени векового дуба, у звонко гремящего студенца молили богов земли Русской, то и они, двоеверы, падали ниц вместе с ними...

² Горе-злосчастье.

VIII. На заборале

Верже князь жребий о девицю себе лобу...

Четыре дня бушевала над землёй Полянской бешеная вьюга. Нежить разыгралась не только по лесам и полям, но и по дворам киян без всякого удержу: страшая человека, она выла в трубах, била в ставни нетерпеливыми кулачками и, взвизгнув, с сухим шелестом неслась дальше – там срывая соломенную крышу, там разметав стог сена, неладно сложенный, там завалив сувоем непролазным улицу. Перуна, который стоял в городке рядом с теремом княжим, над рекой белой, и узнать стало нельзя: он стал похож на тех снежных истуканов, которых лепят ребята по задворкам...

Наконец буря утихла, взошло солнце красное, и вся земля, белой парчой затянутая, заискрилась камнем самоцветным так, что глазам и смотреть больно было, и оторваться они от игры её никак не могли. Этими холодными, многоцветными огнями играло всё: холмы лесистые, река белая, заречье пустынное, и княжой терем, и избы киевские, из труб которых подымался в нежно-атласное небо золотыми кудрявыми столбиками дымок: хозяйки уж застряпню взялись. Кияне из изб тёплых повыползли и широкими деревянными лопатами расчищали улочки, и дворы, и завалинки. По заборалу, деревянным стенам городка, между вежами, хрустя молодым снегом и похлопывая рукавицами – морозец стоял знатный, – вои дозорные в кожухах бараньих, тёплых, ходили и, жмурясь от всего этого блеска, смотрели за реку, в белую пустыню, из-за которой солнце благодатное вставало: оно зима-то зима, а все ласка солнышка слышна, все душа на тепло его радуется...

По скрипучей неладной лесенке на стену поднялся Варяжко. За эти немногие недели, как князь в полюдьё ушёл, молодой дружинник исхудал и под недавно ещё ясными глазами его залегли синие тени. Он не ел, не спал и места себе нигде не находил, и ни в чём душа его не видала себе радости: ни в поездстве, играх ратных, которыми тешили себя оставшиеся дружинники, ни в турьем роге или чаше вина или меду хмельного, стоялого, ни в песнях буйных шумно разгулявшейся гридницы. Всё его сердце, вся его думка была в княжом тереме, у ног молодой княгини Оленушки...

Давно она поранила душу его, чуть не с первого дня появления своего в земле Полянской, но только теперь искра та тайная разгорелась вдруг ярим, неуёмным пожаром. Видел её теперь Варяжко очень редко: тосковала княгинюшка о своём князе день и ночь и никуда не показывала, лебёдушка, личико своё тихое, умильное, ласковое, точно звезда небесная. Часто судьба, чтобы облегчить страду любовную, делает так, что наделяет соперника, врага лихого, злыми качествами, которые делают нелюбье с ним делом лёгким и понятным.

Но тут, как на грех, и этого утешения не было: полюбив Оленушку, Варяжко не разлюбил князя. И вот жизнь поставила перед молодым сердцем тяжёлую задачу: любимый им князь, которому он клялся в верности на мече своём перед лицом Перуна, оставил на его руках любимую жену, которая тоже всем сердцем любила мужа, но которую любит он, Варяжко. Каждый час может он её умчать, так что и следов их никто никогда не найдёт, но и в её сердце, и в своём собственном лежат к тому споны неодолимые. А без неё жизнь не в жизнь и тоска неизбывная, чёрная сосёт сердце ретивое и день и ночь... И Варяжко, облокотившись на запущенный искристым снегом край стены, потемневшими глазами смотрел в белые дали всегда жуткого Поля...

Оторвавшись наконец с усилием от тяжких дум своих и вздохнув, пошёл он по стене дозором дальше и вдруг, завернув за угол, остановился: облокотившись на стену, в нарядной шубейке, опушённой седым бобром рязанским по вороту, по рукавам длинным и по подолу, забыв все на свете, неподвижно стояла спиной к нему Оленушка и смотрела на дорогу в леса

тёмные, по которой её Ярополк уехал от неё и по которой должен был вернуться – не скоро, не скоро: до весны было так ещё далеко!..

Она почувствовала, что сзади на неё смотрит кто-то, и обернулась. И на белом лице её с глазами лани засветилась зорькой улыбка.

– А, Варяжко... – проговорила она этим своим иноземным говорком, который ещё более увеличивал прелесть её. – За Полем смотришь?

– Зимой Поле не страшно, княгинюшка... – отвечал гридень. – Больше для порядка поглядываем, чтобы вои не спали...

Сзади них раздался лёгкий, точно пушистый, шум: солнце пригрело Перуна, белая пелена, в которую закутала бога разыгравшаяся вьюга, разом осыпалась в дымившийся у ног его неугасимый огонь из плах дубовых, и Перун с палицей в руке встал в блеске солнца над всей землёй Полянской во всём своём немом величии и тайне. Оленушка нахмурилась и досадливо отвернулась. Варяжко заметил её движение.

– Что это, как не любишь ты богов земли нашей, княгинюшка? – усмехнулся он. – Кой год живёшь с нами, а все не привыкнешь...

– Я знаю одного Господа истинного, Творца неба и земли, а к истуканам бесчувственным я и привыкать не хочу, – отвечала Оленушка. – Сами же вы своими руками вытесали его из бревна, а потом ему кланяетесь...

– Да ведь и у тебя в горнице боги твои, на досках написанные, тоже ведь руками человеческими поделаны... – удивился он.

– Никаких богов у нас нет, – сказала она строго. – Бог у нас один. А это только иконы святые...

– Ежели ты им молишь, так, по-нашему, они, значит, боги... – сказал он мягко. – А ежели так говорить, то и мы, русь, сказать можем, что и у нас Бог един – Сварог пресветлый, а все другие только сварожичи, от него исшедшие...

– Ты говоришь как язычник, нехитрый в писаниях... – отвечала Оленушка. – Ты горазд грамоте – взял бы книги наши да и прочитал бы все. И сразу и увидел бы, где правда, а где это ваша языческая прелесть да упрямство...

– Ну, где мне в писаниях читать!.. – усмехнулся Варяжко. – А ты, коли милость твоя будет, лучше уж сама все Расскажи, как там все в вашей вере указано... Дружинники, которые из крестьян, много с нами об этих делах спорят – иной раз так доходит, что хоть сейчас за мечи.

Варяжко невольно лукавил. Сын своей земли, он вырос из неё вместе с её богами, и в душе его просто-напросто не было никакой потребности в богах иных. Он простой душой своей не мог поверить, что могут быть другие, столь же несомненные боги. Он знал, что у других народов есть они, но он их не мог принимать серьёзно: мало ли кто чего не придумает?! Но ему было так сладко смотреть на Оленушку, так волновал его её голос серебристый с этим иноземным говорком её – ну точно вот вила светлая из этого сверкающего воздуха на заборало вдруг опустилась или берегиня днепровская, мавка-русалка, чарами своими его по рукам и по ногам связала и душу его из груди молодой вынула. Оленушка, невольно смутившись, зарумянилась: одно дело – веровать, а другое дело – веру свою высказать! По совести если говорить, то и самой ей не всё в вере её ясно было. Но мысль спасти из когтей дьявола хотя одну душу окрыляла её, и она, взмахнув на Варяжко стрелами своих длинных чёрных ресниц, проговорила:

– Мы, крестьяне, веруем во Единого Бога Отца, Который сотворил небо и землю...

И из прелестных уст полился несколько путанный, а оттого ещё более очаровательный рассказ о том, как творил Господь небо и землю, рыб, птиц, животных и, наконец, человека, как изгнал Он первых людей из рая за их нехорошее поведение, как они размножились, как обезумели, как потопил их Господь в потопах великих, как они, оправившись, стали башню до небес строить и как смешал за то Господь их языки... Все это Варяжко слышал в гриднице уже не раз от дружинников-крестьян, но только теперь почувствовал он впервые, как все это

в самом деле было складно да хорошо!.. По снежному двору княжому сенные девушки разбегались, распалились, со смехом в снежки играючи. Вдоль стен вои похаживали. Из лесов, визжа полозьями по снегу, обоз с лесом шёл, и посели перекликались весёлыми голосами и похлопывали рукавицами и смеялись чему-то. Галицы и вороны шумной стаей кружились над белым городом и падали стремительно вниз, по дворам, в поисках за завтраком. Проехал куда-то на коне, богато убранном, молодой Лют, сын Свентельдов. Ребята звонко кричали и катались с гор на салазках деревянных. С Подола, зимой сонного, дымком тянуло... А княгинюшка молодая, всё более и более душой разгораясь, рассказывала уже о Христе – это и ей самой было всего яснее в законе Божиим, всего понятнее, всего дороже, так что без слёз она и говорить об этом не могла...

Но Варяжко не слышал ничего. Его душа была полна одною ею, и для других богов в ней просто не было места.

– Он не ходил по дворам княжеским, – теплясь как уголёк, говорила грекия, и глаза её рдели, как звезды. – Нет, Он ходил по нищим и убогим, чтобы им прежде всего возвестить радость...

«Милая... лапушка... – умильно пело его сердце. – Лебёдушка моя белая...»

– Он искал чистых и простых сердцем, кротких, плачущих, обременённых и иго их принимал на Себя, а им взамен давал Своё иго, лёгкое и полное радости...

«Ах, что мне слова твои милые, цветик ты мой полевой... – пела его душа. – Не слова, а только одно слово мне от тебя нужно, и за это слово я сложил бы враз к ножкам твоим маленьким свою буйну голову...»

Она видела, как он, потупившись, смотрит на неё сияющими глазами, как загорается всё его существо, и сердце её затрепетало: неужели душа молодого дружинника уже открылась спасению?..

– И тебя зовёт Он, Варяжко... – тихонько воскликнула она. – Иди за Ним!.. Отбрось гордыню свою, смиренно покайся, и у ног Его ты найдёшь покой сердцу твоему...

– А нет, княгинюшка!.. – вдруг встрепенулся Варяжко и рассмеялся горько. – Не у Его ног, нет, а только у твоих нашёл бы я покой сердцу своему!.. Но... – оборвал он вдруг, увидев, как она вся перепугалась огня души его. – Прости, княгинюшка... Давно я уж молчу, но невтерпёж стало...

Она, перепуганная, потупилась и, закрыв лицо рукавом бебряным будто от мороза, быстро пошла забором к хоромам. Он смотрел ей вслед молча, точно к смерти приговорённый. На свежем снегу чётко отпечатывались следы её маленьких ножек в зелёных сафьянных сапогах, и он глядел на эти следы и изо всех сил старался сдержать себя, чтобы не пасть тут же, на глазах у воев, на колени: так хотелось ему целовать эти маленькие следы!..

Княгинюшка скрылась. Город оживал всё более и более. У подножия Перуна курился золотой дымок...

IX. На родине

Где ни взялся млад ясен сокол.

В Вышгороде Ядрей оставил обоз княжой и, перейдя застывший уже Днепр, зашагал северскими лесами в сторону Чернигова. По снежной, накатанной уже дороге ехали туда и сюда посели – кто на торговище, кто домой ворочался, а кто в пойму стог подымать по весёлому первопутку... Идти было гоже, охотно... В попутных посёлках он останавливался, и посели всячески старались затащить его каждый к себе: гостя, прохожего они всячески привечали – и потому, что от стариков так указано было, и потому, что в лесной глуши всякий свежий человек находкой был. Только через прохожих и узнавали посели, что где на белом свете делается. А такой гость, как Ядрей, и совсем в диковинку был: лёгкое ли дело, и в Царьграде живал, и, почитай, весь свет обошёл, – молодой парень, а, гляди, какой дошлый!.. Правду старики говорили: не спрашивай старого – спрашивай бывалого... И Ядрей, окружённый лесной, духовитой толпой селяков, рассказывал им и о славе стольного града Киева, и о богатых караванах варяжских, новгородских и греческих, плывущих по старой Непре туда и сюда, и о страшных печенегах, и о блеске Византии, и о славных боях Святослава-князя. Об одном только умалчивал он: о том, что он, у чужаков живучи, изменил вере дедовской и в их веру крестился. А когда посели ласково спрашивали об имени и роде его, он говорил, что зовут его Ядрей, а из рода он Боровых, что на Десне, поправее Чернигова, в лесах спокон веку сидят...

Избы поселей и тут были малые, тесные, закопчённые, на скорую руку сбитые – на курьих ножках, как говорится. Мало ли что может случиться – к чему корни-то в землю глубоко пускать? А эдак, чуть что не так, бросил все да и в крепь, во мхи – ищи там... Давно ли, при дедах, хазары за данью сюда приходили?.. Лесной человек жил всегда начеку. Но гостеприимство скрашивало неприятное житьё их, и, наговорившись досыта, до зевоты, они угощали гостя чем боги благословили, а потом все вместе тут же вповалку на соломе, под кожухами, спать ложились и храпели до самой светлой зари...

Был уже месяц студень. Крессы³ были на носу. Морозы стояли железные. И тихо-тихо было в лесах – ни одна веточка не шелохнётся... Но следы всякого зверья по снегу говорили Ядрею, как и всякому лесовику, о жизни леса-кормильца всё: где тур могучий прошёл, где лоси сохатые на заре кормились, где ночевали в снегу в лунках тетерева, где куница добычи шарил, где зайцы косоглазые жировали... Прямо сердце радовалось, сколько всего на свете было и как привольно было в тёмных, пахучих лесах!..

И вот вдаль среди высокоствольных сосен замелькали вдруг беспорядочно разбросанные избы под кудрявыми столбиками дыма, послышались лай собачий и крики детворы. Несколько дерзких остромордых собак бросились было на незнакомца, но он так внушительно поднял свою дубовую палку, что они сразу осели...

– Батюшки, да, никак, это сам Ядрей!..

И хорошенькая Дубравка, бравшая на обледеневшем колодце воды, всплеснула руками и засмеялась, и её тёмно-серые бойкие глаза с удовольствием смотрели на молодцеватого, подбористого парня, так непохожего на тяжёлых, закопчённых лесовиков.

– А мы тебя уж и видеть не чаяли... Здорово ли живёшь?

– Здравствуй, Дубравка... – улыбнулся мягко Ядрей. – Покинул я тебя девчонкой сопливой, а теперь, гляди, какая раскрасавица стала – чисто вот княгиня киевская!..

– Ну-ну, не подсмаливайся!.. Слыхивали... – смеялась Дубравка всеми своими зубами белыми. – И как ловко подошёл: под самый карачун... Смотри, приходи к нам пиво пить...

³ Дни зимнего солнцезаворота.

– Это уж как есть: к тебе первой...

И он, тряхнув головой, молодецкато зашагал к той избе, в которой он увидел впервые свет. Но на месте старой избышки сияла свежими брёвнами новая. И новый был двор... Хорошо построились. И только было шагнул он за тын, как столкнулся с исхудалой женщиной с тихим, усталым лицом, которая с вёдрами на коромысле шла по воду.

– Ядрей... Родимый... Да ты ли это?!

И мать крепко-накрепко обняла его и прослезилась: она уж давно боялась, что её Ядрея и на свете белом нет...

И в уже закопчённой, но так приятно пахнувшей смолью от брёвен избе сразу началась весёлая суета: «Ядрей, Ядрей пришёл!..» Вокруг избы, как полагается, любопытная детвора собралась со всего посёлка. Некоторые, не в силах выносить тяжести неразделённой новости, уже мчались по своим дворам: «Ядрей, Ядрей пришёл!..» Только востроухие собаки одни не разделяли, казалось, общей радости и упорно и недовольно лаяли, и рычали, и мочились, и опять лаяли: они предупреждали всех, что идёт чужак, на них внимания не обратили – теперь, если случится что недоброе, пусть на них никто не пеняет: р-р-р-р-р... И звонко отдавался обиженный лай их в морозных чащах лесных.

В избу набились наиболее близкие из родичей. Пошли спросы и расспросы: кто жив, кто помер, велик ли Царьград, не сердит ли новый князь, не жаден ли, не слыхать ли про войну чего нового?.. А мать между тем хлопотала с угощением. Пока угощала она одного сына, а там, оглядевшись, надо будет на радостях и родичей всех позвать. И она поставила перед сыном и молодых жирных белок, которых ребята вчера из силков вынули, и молока, и солёной лосятины, и взвару...

– А как дед Боровик? – с полным ртом спрашивал Ядрей. – Жив ли?

– Жив, жив... – раздалось со всех сторон. – Этот забыл уж и года считать... А все такой же: наскрозь земли словно видит старик...

– Он сегодня о полночь придёт к нам петуха резать... – сказала мать, с удовольствием глядя, как обсасывает Ядрей вкусные беличьи косточки.

– Али что?

– Да что, родимый, суседко⁴ наш так расшалился, что не знаю, что уж и делать... – сказала озабоченно мать. – Как поставили ещё при покойнике новую избу, позвали его на новоселье, все как полагается: и хлебцы ему за печь кладу, и ужин когда покидаю, и лепёшек, и пирогов, и яишницы, а иной раз нарочно для него и кашицы сварю... Нет, ничем ему не угодишь!.. И чем мы его так прогневали, уж не ведаю, а дурит – силушки нету: то к лошади ночью привяжется, то скукотить начнёт, то ведра опрокинет, то одёжу так запотит, что хошь весь род подымай на поиски... Как по осени деду водяному гуся резали, голову гусиную я ему во дворе повесила, как полагается. А нет, ничто не берёт!..

– Ты гляди, хозяйка, не новую ли коровку твою он невзлюбил... – подал кто-то из духовитой толпы родичей мысль. – Они на это привередливы бывают...

– Да что ему невзлюбить-то её?.. – развела хозяйка руками. – Я как только на двор её привела, сейчас же ему с рук на руки животину передала: «Полюби, дедушка, пой, корми сыто, гладь гладко, сам не шути и жене не спущай и детей унимай...» А верёвку, на которой привела скотинку, вон у печи повесила... Знаем, чай, порядки-то...

– Дивное дело!..

– Вот что дед Боровик укажет... Сильней его на эти дела по всей Десне никого нету, да и в Киеве вашем едва ли другой такой ведун найдётся!..

– А ты не того, родимка, не бойся: это благует он не со зла, а так, покараводиться охота жировику... – прошамкала древняя старушка с угасшими уже глазами. – А надоест озоровать,

⁴ Домовой.

и опять обмякнет, смирной станет... Вот ежели чужой домовой во двор повадится, тогда всего опасаться можно...

– Вот дед Боровик все дела разберёт...

Вечером, как со скотиной все убрались и отужинали, в избу опять родичи собрались. Дубравка с девками пришла. Заметно было, что для гостя девки легонько, чтобы в глаза не бросалось, прибрались... И все с блестящими в свете лучины-смолёвки глазами слушали диковинные рассказы Ядрея о странах далёких, о битвах кровавых, о лукавом и злом боге цареградском Стратилате, который сперва русскую рать погубил, а за ней и самого князя. И как ни притомился Ядрей с путины дальней, а при виде Дубравки подтянулся и эдак все краски в свои рассказы подпущал. Всё ахало и дивилось...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.